ГРАНИЦА

Повесть

Светлой памяти Дмитрия Михайловича и Любови Геннадьевны РЯБКОВЫХ

СЕРГЕЙ БАГРОВ

Сергей Петрович Багров родился 8 января 1936 года в Тотьме. Закончил Тотемский лесотехнический техникум, где учился вместе с Николаем Рубцовым, и Пермский госуниверситет. Первую книгу рассказов выпустил в 39 лет, потом его проза издавалась в Ленинграде, Архангельске, Вологде и Москве.
К 70-летию Н.М. Рубцова выпустил книгу воспоминаний о нем. Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

1

Свой день рождения Дмитрий Рябков отмечал незаметно, в домашнем кругу. Он, жена его Люба, мама его да давний дружок Бронислав Краснолобов, бритоголовый, с подвижным лицом молодой человек, с кем скрепляла его многолетняя дружба и то, что оба работали в леспромхозе, были ретивы и очень любили поговорить о чем-нибудь запрещенном.

Вначале праздником правили дети. Двухлетний Мишутка взбирался отцу на плечи, воображая себя верховым на коне. Галинка же, ревнуя папу к гостю, показывала тому язычок, морщила носик и заявляла: «Плохой!» Было забавно, все улыбались, и Митя, пользуясь случаем, разливал из графина по рюмкам и отпускал каламбур:

- За то, чтоб Плохой стал Хорошим!

И вновь улыбались. А старая Оля, вся разрумянившись, плавала, будто утица, то к высокому черного дуба буфету, то снова к столу, добавляя к нему новую водку и новые разносолы.

Сентябрьское солнце вплывало в маленький зал.

- Хорошо! - сладко жмурился Митя, поворачиваясь к окну, за которым, как золотые, кипели ветви черемух, поднимая себя из соседнего рва к двум летящим вдоль улицы проводам, постоянно занятым воробьями.

Дети, шаля, убежали за мамой и бабушкой в тихий двор, где затеяли радостную возню, и мужчины, оставшись одни, погрузились в воспоминания.

- Я ведь в семье бедного лавочника родился, - сказал Краснолобов.

- А я - в купеческой, но богатой, - сказал Рябков.

Краснолобов с улыбкой:

- Поделись, если это не тайна, чем таким были вы разбогаты?

- Какая там тайна! - ответил Рябков. - Было у нас два дома. Один - двухэтажный, второй - вот этот, где мы сейчас стольничаем с тобой. Отец торговал колониальными товарами и тканями. Еще и команду пожарных в городе содержал. Короче, был влиятельным меценатом.

Краснолобова подзадело, что такой тороватый у Мити отец. Не то что ли у него. О своем отце нечего было Броне и вспомнить. Зато братан был у Брони - второго такого не сыщешь. И Броня не мог удержаться, чтоб не похвастать:

- Звали Доней. Выпивоха из выпивох! А артист! Парички там всякие, усики, бакенбарды, бородки. Всё это сам он и мастерил. Из пакли. Любил выряжаться и в этом наряде на улицу выходил. Не зря и прозвище: Выряжонок. Как-то был подшофе и нарядился в царя. Мундир - на себя. Понятно, не царский, скорее швейцарский. Наклеил еще и бородку. Личиком был тоже, как император, сух и курнос. И ножницами довел бородку до полного сходства её с царёвой. И встречай его, улица, как Императорское Величество! Слава Богу, был поздний вечер, и разглядела Доню лишь пара прохожих. Боже мой! Как они онемели! А назавтра по городу слух: дескать, сам Николай II пожаловал в Тотьму, только видеть его нельзя: живет на тайной квартире конспиративно.

В общем, играл мой Доня с огнем. И доигрался. Однажды вышел на улицу в одежде белого офицера. Хотел создать эффектное впечатление. И смелость свою испытать. Да попалась навстречу стайка чистильщиков из чекистов. И Доня слова сказать не успел, как пальнули в него из нескольких револьверов...

- Да-а, - посочувствовал Митя. Вздохнул и, налив по рюмке, участливым голосом предложил:

- Давай-ка за наших братьев. Молча...

Потом он грустно моргнул и задумчиво, как уйдя в минувшее время, заговорил:

- И у меня они были. И не один, а четыре брата. Я - пятый. И все мы играли на духовых инструментах. Я-то тогда совсем еще мальчик был. Концерты давали. О-о, как нас принимали! Старший, Сергей, пел романсы. У него даже прозвище было «Сергей-Соловей». А заканчивали концерт каждый раз «Молитвою русских». Дух захватывало у всех!

Митя увлекся и не заметил, как голос его набрал баритоновый тембр, и торжественно, словно ликуя, вывел из прошлого строки сурового гимна:

Боже, царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный,
Боже, царя храни!

Краснолобов был в диком восторге. Не только лицо, но и вся его бритая голова раскраснелась, в глазах - сумасшедшинки, с нижней губы, как с парадной ступеньки, того и гляди, сорвется ликующий вопль. Едва именинник закончил, как он лихо вскочил и обнял Рябкова, тычась губами в пробор на его голове.

- Даешь, Митюша! Такая великая песня! Ее не в комнате надо петь. А там! - Броня выбросил руку к окну. - На большом берегу! Чтобы слышали все плоты! Все баржи! Все пароходы!

- И наши партийные власти! - подначил Рябков. - Райкомы! Райисполкомы! Родная прокуратура! Любимый до гроба ОГПУ!

Дверь отворилась, и не вошла в нее, а только просунула голову, приложив к губам палец, Митина мама, Ольга Васильевна Рябкова:

- Ребята! Вы бы потише! Вас слышно!

Снова налили по рюмке.

- Интересно, - сказал Бронислав, утишая свой громкий голос, - если бы кто из властей нас услышал - чего бы он с нами?

- Турнул бы в тюрьму, - подумал вслух Митя.

- Поэтому, - заключил Краснолобов, - лучше быть начеку. Не показывать сущность свою. А показывать то, что нас бы оберегало.

Улыбнулся Рябков. Улыбка слабая-

слабая, словно стесняющаяся чего-то. Она очень шла к его удлиненному, с озорными губами, постоянно приветливому лицу.

- Истину говоришь. Только в жизни бывает наоборот. Затеваешь одно, получаешь другое. Возьми моих братьев. Где они? Нет. А могли бы и быть. - Митя голову опустил. - В первую мировую всех их забрали в действующие войска. Меня бы тоже туда, да я годами не вышел. Никаких оттуда вестей. Мы уж думаем: всё, скосила коса, едва ли вернутся. А нет! Возвратились! В 18-м, под самое Рождество. А в это время по всей Руси... - Митя не стал договаривать, дав возможность вклиниться в свой монолог и Броне.

- Идет утверждение власти, - подхватил Краснолобов. - Грабежи. Насилия. Красный террор. Кровь ручьями. В первую очередь убивали белогвардейцев.

Митя кивнул, соглашаясь:

- И братьев моих ожидала такая же участь. Ждали беды от шинелей с бантами. Ходили по городу, как уркаганы. Втроём. Иногда впятером. И не спрячешься никуда. Выручил папа. Когда-то здесь, у нас в Тотьме, жил в ссылке Анатолий Васильевич Луначарский. Нашему папе был чуть ли не другом. Бывал у нас часто как гость, а то и так приходил, чтоб посидеть, граммофон послушать, отдохнуть за рюмкой купеческого вина. Именем этим и защитились. Но все равно жили братья, как на вулкане.

Стали записывать в Красную Армию. Кого вначале? Разумеется, тех, кто был на войне. И братьев туда же! Вступайте, орлы! А орлы - ни в какую. Хватит, навоевались. И тогда, дело было зимой, по морозу, к нашему дому - не к этому, где мы сидим, а к тому, на торговой площади, с двумя крыльцами и этажами, подъехал сводный отряд. Приказали отцу выделить пару коней и сани. И братьев моих - в эти сани. И обязали, чтоб взяли с собой духовой инструмент. Цель какая? Такая, чтоб в армию шли не просто бойцами, а вдохновителями бойцов, то есть духовиками. Чтоб там, на Севере, где выступила Антанта, они ублажали красноармейцев. Возбуждали бы музыкой воинский дух.

Не знаю уж точно, какой дорогой они туда пробирались. Знаю только, что тот обоз был большой, и в Шенкурске, где была сделана остановка, наши бойцы оплошали, попав к англичанам в плен. Братьев вместе со всеми загнали в барак. Держали неделю их там без еды и воды. И выйти нельзя: сторожила охрана. Но день, когда их всех вывели из барака в сугробы, чтоб, не мешкая, здесь же, в задах огорода, и расстрелять, был все-таки к ним благосклонен. Именно в этот день, а может, и час, улицы Шенкурска расшумелись от выстрелов и разрывов. В город входил подоспевший из Вологды 156-й полк.

Казалось бы, радуйтесь, братья, свободе. Однако были они настолько истощены, что не было ни у которого силы на эту радость. А дальше? Что было делать? Куда деваться? Как дееспособных, в отряд, погнавший Антанту, их взять не решились. И братья остались все в том же бараке без пропитания и без денег. Одним словом, без ничего. Подумали промеж собою, помозговали и пришли к одному - здесь они пропадут. И решили - домой. За 500 верст пешком. Шли 20 дней. На ночлег нигде не пускали. Ночевали в лучшем случае у костра или, где попадали стога, то в стогах.

Дорога их доконала. А в Тотьме и в дом попасть уже стало нельзя. Реквизирован тотемскими властями и целиком заселён беднотой. Пришлось ютиться в одноэтажном, милостью власти оставленном для семьи, именно в этом, где мы сейчас с тобой отдыхаем. Захирели братья мои, слегли, и не стало их, один за другим померли от чахотки. А потом и отец отошел...

Митя устал от рассказа. Закончив его, долго сидел, вглядываясь в окно, словно видел за ним то тревожное время, от которого и пошел счет семейных потерь.

- Будь она проклята, прежняя жизнь! - воскликнул шепотом Краснолобов.

- А нынешняя чем лучше? - заметил таким же шепотом именинник.

- И снова, Митюша, ты прав! - похвалил Краснолобов. - Я за то, чтоб таким, как ты и мама твоя, возвратили всё, что отняли! И в первую очередь дом!

Отказался Рябков:

- Теперь уже даром. Не надо. Нам и тут хорошо.

Краснолобов его не услышал. Был он пьян, и его охватило желание выяснить нечто важное для себя. Но выяснить с помощью Мити, который был, по его пониманию, слишком уж честен и мысли свои не станет утаивать перед ним.

- Что же нас ждет? А, Митюша? Чего, например, ты желаешь от жизни?

Митя лишь вяло махнул ладонью.

- Если по правде, то ничего. Просто хочется жить, как живу.

- А любишь кого? - продолжал Краснолобов. - Имею в виду не жену, тут и так всё понятно. А из общества нашего? Из людей?

Рябков улыбнулся:

- Из людей? Не поверишь - люблю самых скучных. Они никому не мешают. С ними спокойно. И до тебя им нет никакого дела. Не пристают к тебе с пустяками и ерундой.

Краснолобов смутился:

- Не меня ли имеешь в виду?

Митя:

- Не-е... Ты чего? О тебе я как раз и не думал. Сидишь у меня - и ладно. Тебе хорошо - и мне хорошо. Ты же мой друг! Зачем это надо, чтоб я в тебе колупался?

Броня вмиг успокоился, чтобы тут же задать имениннику новый вопрос:

- А опасаешься? Скажи, чего ты больше всего боишься?

- И об этом не думал, - ответил Митя. - Хотя и думать тут нечего. Несправедливости! Она, посмотри хоть туда, хоть сюда, всюду когти выпустила свои. Возьми нашу Сухону. Каждый день по ней баржи плывут. А кто в них? Если сказать по-партийному - кулаки, а по-нашему - несчастливцы. Их бы надо - туда, откуда забрали. И не только их - всех, кто выслан с родной территории на чужую. Или взять искусственные колхозы. Кому нужны они? Да кому угодно, только не людям, которых, как скот, загоняют туда. Опыт за опытом над народом! И конца этим опытам нет.

- А кто виноват? - спросил Краснолобов.

- Большевистская власть, - ответил Рябков.

- И чего с этой властью?

- Как чего? - удивился Рябков. - Заменить!

Краснолобов опять повернулся к окну. И хотя во дворе, кроме Любы и бабушки Оли с детишками, не было никого, показалось ему, что кто-то там прячется и подслушивает их речи.

- Я, пожалуй, пойду, - сказал он, вставая из-за стола, - просвежусь, а то что-то вот здесь, - ткнул пальцем в голову, - мутновато.

Именинник не стал возражать. Лишь сказал:

- Я тебя провожу.

Во дворе при виде бабушки Оли и Любы с ребятами Краснолобов галантно остановился, подарив всем приятнейшую улыбку, которая говорила: «Хорошо мне было у вас, но пора знать и честь», сказал: «До свиданья» - и следом за Митей направился за калитку.

Он не слышал, как маленькая Галинка, выбежав из-за мамы, прыгнула следом за ним, скорчила рожицу и сказала:

- Плохой.

2

Осень уже полыхала пожаром березовых листьев, кусты в палисадниках поредели, и солнце, спускаясь, садилось не в поле за лесозаводом, а на откос соснового берега за Зеленей, когда показалась над городом первая стая отлётных гусей.

- Чего-то они рановато, - заметил Рябков.

Краснолобов не согласился:

- Самое время!

Они ступали под тополями, взбивая ботинками желтые листья, два леспромхозовских сослуживца, лю-

бивших пройтись время от времени по высокому берегу, чтоб не только глазами, однако и телом, и всем своим существом почувствовать связь с внешним миром, который им открывала большая река. Там, под берегом, в зыбкой тени задичавших рябин стояли торговые балаганы. Там же были и кассы, и зал ожидания, и шалаш с негасимым костром бородатого, как пират, караульщика лодок. А чуть правее, за якорем, вплывшим в песок, под линяющим флагом над драночной крышей смотрелась на город дородная пристань. Здесь по вечерней поре надо или не надо густо скапливался народ, словно его притягивало магнитом.

- С родины улетают, - сказал Рябков, всматриваясь в надречье с исчезающей в нем веревкой гусей. - Не хочется, а летят, - добавил, - туда, где никто их не ждет.

Краснолобова меньше всего волновали пролётные птицы. Он улыбнулся, как более умный над менее умным, и иронически произнес:

- Романтик ты, Митя!

- А ты? - огрызнулся Рябков, не любивший, когда его друг начинал выставляться.

- Я - реалист, - сказал Краснолобов, кивая к двум водорезам, возле которых пыхтел грузовой пароходик, заводя на мелкое место неповоротливую баржу. - Птичкам сочувствуешь! А этим?

Митя молча вгляделся в слепую, без окон, баржу, из трюма которой зашевелилось что-то живое, превращаясь в цепочку людей, один за другим потянувшихся к трапу.

- Откуда они? - удивился.

- С Кубани, - сказал Краснолобов, - вчера их тоже сплавляли на такой же точно барже.

Рябков не вспотел, но вытер платочком свой лоб.

- Горемыки из горемык. Птицы весной назад возвратятся. А эти?

- Этим - каюк, - сказал уверенно Краснолобов.

Митя смотрел на гладкие валуны и перевернутые вверх днищем лодки, на которых справляли трапезу переселенцы, для кого сегодняшний вечер был, быть может, последним, ибо рядом стояла, дыша им в затылок, слепая осенняя ночь, а в ночи - уходящая по реке в неведомое баржа. Смотрел Рябков на людей с отобранной родиной и испытывал стыд, словно был перед этим становищем он повинен.

- Давай-ко, Броня, отсюда. Пошли, - предложил Краснолобову.

Краснолобов не был заносчивым человеком, но любил подтрунивать над людьми, в которых вдруг замечал замешательство или слабость.

- Что-о? Задрожали коленки?

- Что есть, то есть, - согласился Митя.

- А я предлагаю туда! - Краснолобов кивнул на серую ровность реки, на фоне которой темнели разбросанные фигурки.

- Я лучше домой, - отказался Рябков, для чего-то расстегивая пиджак.

- Храбрец! - брезгливо выцедил Краснолобов и, хотя не хотел он туда, к этим выброшенным из жизни обитателям Черноземья, наперекор своему настроению тронулся к ним.

Митя, словно его уличили в чем-то неблаговидном, вспыхнул. «Нет!» - сказал сам себе и, застегивая пиджак, прыгнул с берега на откос, осязая текучесть песка, поплывшего вместе с его ногами по склону.

Суплес против баржи пестрел от вязаных кофт, пиджаков, картузов и платков. Был привал, и приезжие пользовались минутой, чтоб успеть подкрепиться скудной едой не всухую, а запивая ее водой.

Пахло семечками подсолнуха, мокрой галькой, баржой и сопрелой одеждой. Краснолобов, чуя шаги за спиной, шел по песчаному суплесу, приближаясь к привалу переселенцев, среди которых особенно выделялся костистый мужик в двухпудовых, со складками сапогах, сидевший на дне перевернутой лодки и качками руки отправлявший семечки в рот. Другой еды, видимо, не было у него, и семечки ел он не очищая.

Не успели приятели осмотреть человеческое становье, как от трапа

баржи подался в их сторону худощекий, в фуражке-сталинке, с треугольной морщиной во лбу молодой конвоир. Поглаживая щепоткой грубо выбритый подбородок, подошел к ним и дернул плечом, за которым дернулась и винтовка.

- Дале, дале держитесь! Сюда нельзя!

Краснолобов в ту же секунду где-то вверху, над обрывом, приметил выблеск стеколышек и, холодея, сообразил, что кто-то их выслеживает в бинокль. Костистый был уже рядом, но справа. В руке у него только что были подсолнечные семянки, и вот - белел треугольник письма.

- Хлопцы, - выдохнул он умоляя, - ради Христа, бросьте это в почтовый ящик.

Краснолобов сообразил, что это рискованно и опасно.

- Чего захотел! - и, посмотрев на смутившегося Рябкова, обжег его едким взглядом:

- Не вздумай брать!

Не глазами уже, а кожей шеи и головы Краснолобов почувствовал шарящий взгляд. Кто-то смотрел на них с берега, где стоял милицейский дом, обнесенный с востока и севера забором из кирпича. Тут же понял: смотрит на них в свой бинокль один из сотрудников этого дома, кому положено наблюдать за участком реки, куда притыкаются баржи, везущие в трюмах переселенцев.

- Уважьте! - добавил костистый, протягивая письмо.

Рябков подзамялся.

- Не смей! - повторил Краснолобов.

А Рябков как глухой. Словно товарища и не слышит. Зато на охранника посмотрел, как на единственную причину, какая ему помешает взять это тонкое письмецо. И что же? Он снисходительно улыбнулся, назвав в душе приятеля паникёром, ибо охранник в эту минуту вдруг отвернулся, зевнул и скучающим шагом поплелся куда-то к реке.

Забирая письмо, Митя заметил глаза подконвойных. Глядели они на него с удивлением и восторгом, как на безумца, который рискует собой ради них, самых-самых незащищенных.

Краснолобова он догнал на улице Володарской. Хлопнул его по плечу.

- Мимо почты пойдешь. На-ко! Брось его в ящик! - И хотел уже было отдать этот маленький треугольник, да увидел лицо Краснолобова - красное и тугое, с нижней губой, с которой выскочило шипенье:

- Шиш на!

Еще более изумился Рябков, когда Краснолобов, не взяв у него письма, чуть ли не опрометью рванул по улице Володарской, и шаги его, удаляясь, стучали по тротуару так зло и быстро, словно спасали его от беды.

3

Краснолобов и в самом деле спасался. Он снова заметил следящего человека, как тот метнулся от тощей березы на берегу к голубому ларьку, где продавали клюквенный морс. Потому он и возмутился, когда Рябков, поравнявшись, только-только не сунул ему то письмо.

«Шиш на! - повторил про себя Краснолобов. - Что я? Того? Взял бы это письмо - и меня бы с поличным, как их связного! А у Митьки, у дурачины, поехал, видать, чердак. Ушел ведь с кулацкой писулькой. И меня чуть не сделал их письмоносцем. Сам пропадай, а друзей выручай! Это не для меня. Это для Митек, простых и наивных, как глиняные корчаги».

Краснолобов, стишая шаги, бдительно оглянулся. Улица, по которой он шел, была малолюдной. Никто за ним, кажется, не следил. «За Рябковым ушел», - подумал он о следившем за ними с берега человеке.

Краснолобов вздохнул с облегчением, когда увидел свой дом с мезонином, железным дымником над трубой, занавесочками на окнах. И жену увидел свою, как та, белея косынкой, снимала с веревки высохшее бельё. И только тронул рукой кольцо у калитки, как услыхал:

- Погоди-ко, милок!

Сердце его упало. С другой стороны дороги, против дома его, вынырнув из-под свеса черемуховой листвы, показался тот самый, кто за ним на-

блюдал от самой реки. Одетый в серый пиджак и серую кепку, был он узок в плечах, но шеей широк, толст и красен. На длинном лице - уличающая улыбка.

- В чем дело? - Краснолобов ослабил пальцы, из которых тут же выскользнуло кольцо.

- В том, что я из милиции. Следственник Тепляков. Как разговаривал ты и твой компаньон с кулаками, видел собственными глазами.

Оробел Краснолобов:

- Да вы что?! Я ни с кем...

- Разберемся, - прервал Тепляков.

- Это как понимать? - трухнул Краснолобов.

- Пойдешь сейчас вместе со мной.

- Зря это вы! Клянусь! Ни в чем, говорю...

- Проверим! - не дал договорить Тепляков и кивком головы показал Краснолобову на просвет длинной улицы, по которой тот только что шел и вот снова пойдет, но уже не домой, а от дома.

Краснолобов увидел жену, как та выбежала к калитке и, открыв, недоуменно взмахнула косынкой, сорвав ее с растрепавшейся головы:

- Броня! Это куда тебя?

Краснолобов не обернулся.

- Не знаю, - сказал он так тихо, что никто его не услышал.

Вечер стекал на уличную дорогу прямоугольными тенями от домов. Солнце еще не село и бойко выплясывало на окнах, где зеленели горшки с ванькой мокрым и маргариткой.

Ступал Краснолобов по узким мосткам вслед за одетым в серое Тепляковым. Ступал и видел, как разливались по всем огородам, улицам и дворам пучки предзакатного света, обещая кому-то чудесный вечер с чаем из самовара, стуком часов на стене и улыбкой жены. «Всё из-за Рябчика! - сетовал Краснолобов. - Не мне бы в эту милицию, а ему...»

4

Комната, где за квадратом сукна на столе восседал одетый в глухо застегнутый китель следователь Перов, была с тремя окнами, выходившими на реку. Окна были слегка приоткрыты, и воздух с воли весело шевелил соломенно-светлые волосы хозяина кабинета.

Краснолобова посадили на стул в трех шагах от стола начальника следственного отдела.

Перов прошелся ладонями по сукну, взял красивый, из стали вылитый колокольчик. Снова положил его на место. Суровое, никогда, наверно, не улыбавшееся лицо его упорно смотрело перед собой не только прищуренными глазами, но и стайкой морщинок над переносьем.

- Кого привел, Тепляков?

Узкогрудый, с борцовской шеей сотрудник, подойдя к своему начальнику, наклонился над ним, передавая в самое ухо всё то, что он знает о приведенном.

Следователь положил на стол оба локтя, поднаклонился, и голова его, как бодая, нырнула к стулу, на краю которого оробело держался ни в чем не уверенный Краснолобов.

- Стал быть, в сговоре с кулачьём! - сказал он язвительным тоном. - Что затеваете?

Спрошено было так, как если бы был Краснолобов в кругу заговорщиков.

- Что вы! Что вы! - он даже привстал, но тут же снова уселся.

Следователь с усмешкой:

- А что они вам передали?

- Лично мне - ничего, - сказал Краснолобов.

Тепляков опять наклонился к уху Перова.

- А подельнику твоему? - рассердился Перов.

- Рябкову, что ли? - спросил Краснолобов. - Дак он не подельник. И я не подельник. Просто мы работаем вместе. В леспромхозе. Он - бухгалтер, я - нормировщик.

- Ну, а что твой Рябков от них получил?

Краснолобов пожал плечами.

- Не знаю. Какое-то там письмишко.

- Адрес Рябкова?

Спрошено было грубо. Но Краснолобов обрадовался вопросу:

- Кооперативная, дом номер восемь, - сказал он, сдерживая улыбку, не позволяя ей выскочить на лицо.

Перов потряс колокольчиком, вызывая из смежной комнаты подчиненных. И когда три бойца, стуча сапогами, встали возле стола перед ним, обвел их прищуренными глазами:

- Кооперативная, восемь. Рябков. Сюда его! Быстро! А этого, - палец его, как сучок от сосны, процарапал комнатный воздух, и Краснолобову стало не по себе, словно глядел на него не палец, а ствол, из которого убивают, - этого в камеру.

- Извините, - сказал Краснолобов, - но мне, мне надо домой...

- Многого хочешь, - подторопил его Тепляков, выводя в коридор, освещенный высоким окном, в которое, разрезаемая решеткой, вплывала с воли еле приметная горсточка позднего света.

5

Двор. А за ним - огород. От куста к кусту, низко падая, пролетела стрекочущая сорока. Заблеяла коза, рванув со всех ног к хозяину дома, чтобы тот потрепал ее меж рогами и она бы потерлась своей гладкой шеей о его приветливую ладонь. А вон и окно, в котором - смеющиеся от счастья три ангельские головки: одна - побольше, и две - поменьше, и все в оправе иссиня-черных волос. Всё здесь было своё, всё надежное, всё родное.

Слышится скрытый стенами дома стук бегущих шагов. Секунда - и желтая с бронзовой ручкой крылечная дверь - весело нараспашку.

- Опять-то ты задержался? - Люба уже на крыльце, босая и статная, в открытом, с проймами сарафане, в подол которого крепко вцепились Мишутка с Галинкой.

- Да вот, - объясняется Митя, - ходили с Броней смотреть странников на реке.

Удивляется Люба:

- Разве такие бывают?

- Бывают...

Они проходят на кухню, где, уютно белея, стоит, как огромная барыня, русская печь, откуда старая Оля вытаскивает для сына кринку за кринкой, добавляя к стоялому запаху хлеба и молока запах горячего творога и жаркого.

Мишутка, вцепившись в бортик кроватки, кричит, как бунтарь, рассердившись на то, что его отделили от всех, кто был дома.

На колени к отцу взбирается дочка. Ей весело оттого, что она машет ручками и мешает, и папа ее то и дело проносит ложку с едой мимо рта. Весело и хозяйке. Лицо у Любы открытое и живое, как у многих красивых женщин, которые не умеют не улыбаться, и молодое здоровье так и плещет в ее глазах, переполненных синими искорками и счастьем.

После ужина Митя уходит во двор. Хозяйство у них большое. Потому и берет он в руки свои хоть топор, хоть лопату, хоть лом - одним словом, любой инструмент, чтоб пилить и колоть для двух печек дрова, чтоб косить для козы в огороде траву, чтобы дом, где чулан с коридором, чердак, кухня, спальня и маленький зал, не садился и не кренился и стоял на фундаменте, будто крепость. Да и всё остальное, с чем в хорошей семье не хозяйка справляется, а хозяин, сохраняло бы прочность, устойчивость и уют.

Сегодня Митя копает картошку. Прохладно, а он без рубахи, и майку сбросил, повесив то и другое на угол бани. Загорелые плечи и грудь перетянуты мышцами, как ремнями. В юные годы Митя бесстрашно крутился на турнике.

Отдаваясь с пылу работе, ощущает Митя себя переполненным чем-то огромным, приветливым и свободным, словно в нем поселилась сама природа, расположив в привычном порядке огородные прясла, кусты крыжовника, ветки с листьями, пролетающую ворону и даже далекую тучку, из-под которой течет и течет золотая река, а в ней, как шикарная дева, купается солнце.

Сентябрьские сумерки рано ложатся на землю. Не успел Митя выкопать и полгрядки, как ботва и кусты вдоль забора стали темнеть. Пахло черемухой и укропом. Тихо-тихо, как в прошлой жизни, проскрипели мостки.

И тут отворилась калитка. Во двор не спеша, но уверенно вторглись трое. Милицейская форма и звездочки на фуражках подсказывали, кто они есть и откуда пришли.

Рябков изумился не понимая. Люба же побледнела, почувствовав завершенность какой-то нелепой ошибки, которую надо немедленно исправлять.

Оба уже уходили домой, где горела зажженная лампа, свет от которой падал во двор.

Отставив корзины с картошкой, Рябков заправил в брюки рубаху и, подойдя к незваным пришельцам, несмело спросил:

- Вам чего?
- Вы - Рябков?
- Рябков.
- Тогда пошагали. С нами.
- В милицию, что ли?
- В милицию.
- Чего я у вас позабыл?
- Там объяснят.
- Какая-то ерунда, - Рябков повернулся к жене, взял ее руки в свои, подержал их, как счастье, которое отнимают. - Ну, Люба, чего? Я пошел. Думаю, ненадолго. Сегодня же и вернусь. Не оставаться же там глядя на ночь. Правильно, командиры? - повернулся к пришедшим.
- Правильно, - произнес неуверенно кто-то из них.
- Митя! Но ты же совсем не одет! - напомнила Люба.- Надень хоть пиджак. Я сейчас принесу.
- Не ходите, - остановил ее самый старший. - У нас там тепло...

Несколько рук повернули Митю к калитке. Люба почувствовала мороз, обжегший ее задрожавшие губы, в которых застыли несказанные слова. Мгновенным взглядом она успела приметить, как по лицу супруга прошла растерянная улыбка, которой хотел он ее ободрить, чтоб Люба не очень переживала, однако улыбка была похожа на траурную гримасу, с какой уходят из дома, чтоб никогда не вернуться назад. Плечи же Мити сузились и осели, словно лежали на них не ладони уверенных конвоиров, а бревна.

6

Для следователя Перова все приведенные к нему в кабинет были людьми, жизнь у которых остановилась, и теперь всё зависело от него: продолжить ее им или же не продолжить? Продолжали обычно те, кого он после допроса в камеру отправлял. Как правило, это были мелкие жулики, спекулянты, шулера, мошенники и пустые говоруны, на кого поступали неубедительные доносы. Все они, пройдя процедуру суда, получали какие-то сроки, сидели в тюрьмах и лагерях, но в конце концов выходили на волю.

Но были и те, для кого советская власть была ненавистна, и они, затаившись, ждали момента, чтоб предъявить ей свой счет. Таких Перов не допрашивал. Таких отправлял он в Вологду или Архангельск, в окружное ОГПУ для более умных дознаний.

Когда привели Рябкова, он долго смотрел на него прищуренными глазами. Сидел перед ним простецкий, в суровой рубахе, спортивно сложенный, с тонким лицом молодой человек. Казалось бы, всё в нем было открыто. Чуть удлиненная голова, по которой, как шов, проходил аккуратный пробор, отправлявший черные волосы на два склона, чистый со взлизами лоб, совершенно бесхитростные глаза, наконец, лежавшие на коленях спокойные, с сильными пальцами руки - ничто не могло в нем открыть чужого, с антисоветским душком удальца, кто питал дружелюбные чувства к врагам государства.

- Рябков?
- Рябков.
- Работаем где?
- Бухгалтером в леспромхозе.
- Рассказывай.
- О чем? - удивился Рябков.
- О том, как ты стал у нашего кулачья почтальоном.
- Никакой я не почтальон!
- А письмо? - напомнил Перов. - Или они тебе его не давали?
- Не было этого, - отказался Рябков, - не давали.

Перов повернулся к стене.

- Тепляков!

От стены под портретом Дзержинского отделился одетый в серое человек с решительными руками, которые тут же, как скользкие рыбины, стали нырять в карманы Рябкова, сначала рубахи потом, заставив сидевшего встать, и брюк.

Письмо было в заднем кармане. Митя его не успел опустить, решив, что сделает это завтра, когда пойдет на работу и завернет по дороге на почту.

Перов был доволен. Виноват ли, не виноват ли был приведенный перед законом, было ему все равно. Замечательно то, что в руках у него находилось письмо. Это был документ, подтверждающий связь кулака с бухгалтером леспромхоза. Перов понимал, что дело это не из простых и рассматривать станет его не он. С него довольно того, что он бдительность проявил, и это ему, надо думать, зачтется. «Завтра же в Вологду и отправлю, - подумал Перов. - Там жернова покруче, чем наши. Хруст пойдет, если этот бухгалтер проявит характер...» Было приятно Перову поддерживать мнение о себе, как о следователе серьезном, разбирающемся в людях, бросившим вызов существующему режиму.

Была уже ночь. И Перов показал Теплякову на арестанта.

- Завтра в Вологду отправляй. А сейчас найди ему койку.

Тепляков наклонился к уху Перова, спросив его так, чтоб не слышал Рябков:

- Может, в общую камеру? Там ведь дружок его Краснолобов. Пусть пообщаются напоследок.

Перов шевельнул бровями значительно и солидно, как если бы думал не только своей крупно слепленной головой, но еще и бровями.

- Нет! - отверг нехороший совет. - Подерутся. Нельзя. В Вологду надо доставить его в целом виде. Отвечаешь за это собственной головой.

Уходил Рябков от Перова с опущенными плечами, обысканный и сердитый, не представляя, как для него начнется и кончится завтрашний день.

«Не ты первый, не ты и последний», - подумал Перов. Следователь домой не спешил. Перебирал лежавшие перед ним бумаги. Взял среди них треугольное письмецо. Развернул и начал читать. Ничего такого в нем не было, за что бы можно наказывать человека. Некто Терентий Вагула пишет своей молодой жене, обращаясь к ней ласково, как к невесте. Пишет в Ставропольский край, в станицу то ли Красивую, то ли Кривую: несколько букв на адресе стерты, и прочитать их было нельзя. Сообщает Терентий, что их по реке отправляют куда-то на Север. Куда, конкретно никто не знает. Наказывает жене, чтоб вступила в колхоз, иначе последнее отберут и она вместе с сыном протянет от голода ноги. Насторожили Перова последние строки, в которых Вагула пишет, что письмецо передаст через доброго человека. Не все же ныне поганцы и трусы. Есть и порядочные ребята. «...Обо мне не тужи, - продолжает в письме, - скоро свидимся. А ежли не свидимся, то не плачь. Коль не вернусь на Октябрьскую, считай, что меня и нету. Сгинул. Поди к моему братану Миколе. Он тебя любит. Примет тебя вместе с нашим Олёшей. С ним вы оба не пропадете.

До свиданьица, дорогая. А может быть, и прощай.

Твой Терёша».

Следователь вспотел. Перед ним на синем сукне лежало развернутое письмо. Автор его собирается убежать и сделает это, быть может, сегодня. Поймают его или нет, было следователю не важно. Важно то, что он первый узнал об этом и кого надо предупредил. И, как к двум прибавить один, стало ясно ему, что письму дадут ход, как крамольному документу, и пострадает от этого в первую очередь Дмитрий Рябков.

7

Не мог Краснолобов заснуть на тюремных нарах среди шорохов и движений, когда кто-то надсадно дышал, кто-то кашлял, кто-то чесался, и отовсюду шел запах невымытых ног, а в голову лезло: «Ни за что, ни за что забрали. Не меня бы надо сюда»... Поэтому утром, когда его вызвал сле-

дователь Перов, был Краснолобов, как спелая глина, из которой лепится всё.

Следователь спросил:

- Домой, поди, хочешь?

Краснолобов:

- Очень даже хочу.

- Заслужи!

- Это как?

- Для начала раскайся.

- В чем?

Перов пояснил:

- В сочувствии к тем самым кубанцам, от кого вы с Рябковым грамотку получили.

Краснолобов:

- Но я не сочувствовал никому. Даже больше того, когда совали Рябкову письмо, я сказал ему, чтоб не брать.

Следователь любил смущать и к тем, кто смущался, был деликатнее и добрее.

- Выходит, ты бдительность проявил?

- Если хотите, то да! Так и было!

Перов услышал в голосе Краснолобова услужливую готовность сделать именно так, как подсказывают ему.

- Бдительность и осмотрительность. Это сильные аргументы. Пожалуй, могут они тебе и помочь. Садись вон туда! - Перов показал на маленький столик в углу кабинета, за которым много и многими было написано донесений на тех, кто явился причиной того, что теперь они здесь.

- Пиши, - добавил Перов, подождав, пока Краснолобов сядет за столик, - вот тебе ручка с чернилами, вот бумага. Не просто описывай, что там было, а с разъяснением: что такое Рябков? Почему проявил он сочувствие к кулакам? Откуда в нем это? Может, он бывший белогвардеец?

- Не он, а братья белогвардейцы.

- Вот-вот, то, что надо. Белогвардейский душок. Перебрался от братьев к брату. А родители кто? Не из денежных воротил?

- Отец у него был богатым купцом. Вел большую торговлю.

- О, как славно! Давай и это впиши. Семя от семени падает недалеко.

- Буржуазное семечко, - подтвердил Краснолобов. - Да еще и тесть у него...

- Что? Такой же буржуй?

- По-моему, хуже, - сказал Краснолобов. - Вредитель! Три года назад на Еденьге пять тысяч кубов деловой древесины оставил на берегу!

- Помню! Помню! - Перов поглядел на подследственного с улыбкой, словно взял и одобрил его. - Ты, я смотрю, Краснолобов, соображаешь. Антисоветчинка от богатого тестя к богатому зятю перескочила, как погореловская блоха. Всё! Оставляю тебя. Пиши! Именно так пиши, чтоб понравилось мне, и ты не когда-нибудь, а сегодня был дома. Не возражаешь?

- О-о, нет...

8

Расстроен был следователь Перов. По дороге в милицию встретился с прокурором, который сказал, что вот-вот на барже прибудет новая партия спецпоселенцев. И остановка будет у них в тюремном дворе, и чтобы он, как ответственное лицо, пропустил их всех через свой кабинет, выявляя самых крамольных. «Не лишка ли вы от меня хотите? - подумал Перов. - Как будто мало дел у меня с местным материалом...»

Голова была вялой, и взбодрить ее не могла даже душистая папироса, какой он обычно не баловался с утра. А тут еще гостья. Вчера просилась к нему. Доложил о ней Тепляков, сказав, что она дожидается в коридоре. Но он не принял ее.

- Пусть завтра придет, - сказал Теплякову.

И вот она тут. В шляпке, высоких ботинках с шелковыми шнурками. Пришла из минуты в минуты, ровно в девять утра, когда он только-только ступил за порог, снял галоши и сел за свой стол, собираясь осмыслить вчерашний вечер.

Собственно, вечер был не особенно канительным. Надо было отправить Рябкова. Что он и сделал, посадив его в сопровождении Теплякова на грузовой пароход, возвращавшийся в Вологду за баржой, в которой должна была плыть новая партия выселенцев.

Женщина хоть и была в тусклом платье, скрывавшем ноги почти до подыжек, Перов не мог не заметить ее зороных с влажным блеском волос, ярких глаз и высокой шеи, открывавших в ней благородных кровей породу. «Не из простых», - сказал про себя и услышал:

- Я насчет мужа, Дмитрия Михайловича Рябкова. Его увели из дома позавчера. Что он такого сделал?

- Дело в том, - ответил Перов, - что ваш муж вступил в контакт с классовыми врагами.

- В контакт? - посетительница смутилась.

- Да, - добавил Перов. - Они хотели его использовать как курьера. И он согласился.

И вновь посетительница смутилась.

- Про кого это вы? Откуда у нас классовые враги?

Не понравились следователю вопросы. Но от все-таки объяснил:

- С Кубани. Их тут у нас высаживали на берег. Вот они вашего мужа и подцепили.

Женщина, кажется, возмутилась:

- Если они, то и спрашивайте с них, а не с мужа! Он-то при чем тогда тут?

«У-у, как она!» - изумился Перов. И отвернулся к окну, уставясь в открытую створку его с неподвижностью сфинкса, умеющего быть не только неразговорчивым, но и надменным.

- Какой из него курьер, если он закончил Лесную школу? Лучше скажите, когда его выпустят?

Перов с нарастающим раздражением подумал о том, что пришедшая слишком наивна. Лесную школу еще приплела. И он, пересилив себя, скупо и нехотя процедил:

- Это решаю не я.

- А кто-о? - женщина так и вонзилась в него своими глазами, полыхнувшими нетерпеньем и синевой.

Перов отвернулся от створки окна, впускавшей с воли речную прохладу и, захватив сидевшую краешком взгляда, хотел уже было сказать: «Здесь спрашивают не меня, а я!» - но не стал, подумав о том, что прежняя, с благополучием, расположением близких, комфортом и ласками мужа жизнь для нее закончилась навсегда и наступает другая, где верх возьмут бесполезное ожидание и не имеющие границ прозябание и усталость.

- Вологда, - выдавил он сквозь сжатые губы.

- Почему это Вологда?

- Потому, что он уже там.

- Как же так?

- Еще вчера был отправлен туда, - промолвил Перов, уступая решительному напору, с каким пришедшая расспрашивала его. - Пароходом, - прибавил.

- И что же мне делать? Куда я сейчас? Где мой муж? У кого?

- Всё! - не сдержался Перов. - Я и так вам сказал больше, чем надо. Довольно с меня. До свиданья.

Он видел, как посетительница погасла, встала, будто лунатик, и, погружаясь ногами в зашнурованные ботинки, вышла из кабинета, унося с собой нераздавшийся крик.

9

С той минуты, как Митя упал на тюремную койку, до этой, когда, пробудившись, увидел железную с полочкой дверь, как та отворилась, впуская юношу в гимнастерке, принесшего ломоть хлеба и кружку воды, когда он поел и начал ходить по каменной келье, зачем-то вслух считая шаги, он видел в себе не себя, а какого-то незнакомца, которого, кажется, посадили, и будет теперь он в этой каморке всегда.

Себя же почувствовал после того, как за ним явился быстрый, как ящерка, Тепляков. Тут-то Митя и осознал, что над жизнью его нависла неведомая угроза. Дико было ему оттого, что сейчас он не дома, а в тусклой, с угрюмыми стенами комнатёнке и что рядом не Люба с дочуркою и сынком, а одетый в хлопчатобумажный костюм средневозрастный, с перхотью на плечах ожидающий человечек, от которого пахнет несвежей одеждой и чесноком.

- Куда меня? - буркнул с неудовольствием Митя.

- Тиха, - предупредил Тепляков и повел Рябкова по тропке, спускавшейся с берега к стайке лодок. Повыше, за лодками, на парах стоял готовый к отплытию пароходик, который, как только они на него поднялись, заработал колесами и поплыл.

Тепляков помахал кому-то на берегу, кто скрытно стоял под березой, давая понять, что он ничего не забыл, всё помнит и дело, какое ему поручили, выполнит, как велели.

Спустились в корму, где горела, чадя, трехлинейная лампа. Тепляков подвывернул фитилек. Показал Рябкову на круглый иллюминатор, под которым был ввинчен в пол замызганный столик, а рядом со столиком - полка с матрасом.

- Вон твое место. С него - никуда!

И дернул плечом, снимая пиджак, чтоб подправить под ним пистолет, а планшет, где лежали тюремные документы, висевший под мышкой на ремешке, снял с плеча и снова повесил. Надевая пиджак, поднялся к люку. Прежде чем выйти, призадержался:

- Смотри у меня! - и хлопнул рукой по карману, где были наручники, кольца которых звякнули и затихли.

Крышка люка закрылась. Слышно было, как скрежетнула металлическая задвижка.

Митя почувствовал, как его зазнобило. Замерз. Кроме ботинок, брюк и майки с рубахой, на нем не было ничего. «Хотя бы какой-нибудь пиджачонко», - невесело помечтал и, передернув плечами, улегся на голую полку, навалив на себя комковатый, пахнущий водорослью матрас.

Лежал он, рассеянно глядя на потолочные связи кормы. Пароходик плыл неторопко. В иллюминатор, словно из бездны, набрасывалась вода, донося до Мити ропот и всплески речной стихии. «Чем-то сейчас занимаются мама моя? Люба моя? Детишки мои? - он трудно вздохнул. - Наверное, плачут». Сердце его защемило в предощущении будущих дней, не открывавших ему даже маленького просвета.

Митя сам не заметил, как окунулся в провальный сон. И, пожалуй, был бы он в этом провале уже до утра, да его разбудили толчки. Пришел Тепляков. Поставил на столик хлеб с колбасой и стеклянную кружку с морсом. Был он выпивши, на вспотевшем лице сияла улыбка румяного кока, который щедр и поэтому угощает.

- Ешь! - приказывает Рябкову. - Не то захиреешь. А ты мне нужен тепленький и живой!

Еда была кстати, и Митя в пару минуту управился с ней. И снова улегся.

Тепляков тоже начал укладываться на полке. Но сначала снял свой размывчато-серый, изрядно поношенный, узкий пиджак, в котором мог сойти за обычного разночинца. Пиджак не нравился Теплякову, но был нужен ему постоянно, когда, теряясь в толпе, он высматривал тех, кто был, по его пониманию, не в ладах с советским законом. Сняв пиджак, оказался он хоть и не крупным, но крепким мужчиной с большими ухватистыми руками, пальцы которых, пожалуй, могли задушить и волка.

От спиртного, которым его угостила команда, было тепло, и он улегся, не укрываясь, на такой же точно, как у Рябкова, с комками и пуговками матрас. И сразу повел разговор.

- Удивляюсь, - начал он, поворачиваясь к Рябкову, - ты такой вроде самый обыкновенный, не урод, понятно, но и не денди, а отхватил такую мадам! Как, скажи, это тебе удалось?

Усмехнулся Митя и, чтоб себя не чувствовать ниже, чем собеседник, заговорил с ним тоже запросто и на «ты».

- Это ты про кого? Не про жену ли мою? Откуда ты ее знаешь? Я вас, кажется, не знакомил?

Тепляков объяснил:

- Видел! Один только раз! Сегодня утром она приходила. К Перову. Хотела к нему на приём. Хлопотать за тебя. Но Перов ее взял и не принял.

- Гад! - вырвалось у Рябкова.

- Полегче, полегче! - остановил его Тепляков. - Человек он что надо! Только дел у него выше шляпы! Где все успеть. Вот и не принял. Однако не отказал. Завтра велел приходить... А она хороша! Как это ты такую и заарканил?

- Не будем об этом, - Рябков чуть померк.

Голос соседа по трюму был навязчиво-фамильярным, словно он, развлекая себя, заглянул через заднюю дверь в чужую семейную жизнь, о которой не только знать, но и расспрашивать неприлично. Но сосед в таких тонкостях не разбирался, поэтому улыбнулся:

- Нет, будем! Я все равно от тебя не отстану, пока не расскажешь! Где такую, скажи мне, найти умудрился?

- Ты что, командир! - нахмурился Митя. - Женщин, что ли, не видел?

- Таких, как твоя, в первый раз! Все равно что в Испанию съездил!

Удивился Рябков:

- В Испанию? Это как понимать?

- Говорят, там женщины как царицы! И твоя бы была там такой!

- Сам-от ты, командир, женат?

- Собираюсь, - сказал Тепляков. - Да не знаю. Пока не встретилась самая та.

- А лет тебе сколько?

- Сорок один.

- Да-а, - сделал вывод Рябков, - время уходит. В таких летах можно вообще не жениться.

- Это меня и пугает. Да ладно. Помолчим про меня. Ты давай про свою! Где, скажи хоть, увидел ее впервые?

Свет от лампы, стоявшей на столике, мягко падал на Теплякова, выделяя его побитый морщинками выпуклый лоб с бойко летящей к бровям русой челкой. Был он в эту минуту очень уж простоватым и очень доступным и допускал, чтобы можно было с ним разговаривать по душам.

Что и делал Рябков. Однако не потому, что поверил в его простоватость и задушевность. А потому, что был по натуре общительным человеком, легко сходился с людьми, будь они даже совсем чужие. И еще потому, что выговориться хотел. А для этого нужен был хоть и случайный, но собеседник. Удивительно, но Рябкову вдруг самому захотелось поговорить. Поговорить, значит, вспомнить самое светлое в собственной жизни. А светом таким была для него жена.

- Впервые увидел ее я в женской гимназии. На выпускном. Когда объявлен был белый танец. С этого и пошло...

Вспоминая, шел Рябков по прошлому своему, как по проспекту, который светло и вольно раскинулся перед ним. И меньше всего казалось ему, что он однажды возьмет и собьется с проспекта и сразу на целую жизнь отстанет от всех.

- А родители кто у нее? - спросил Тепляков.

Митя сдержанно улыбнулся:

- Самые благородные. По фамилии Коляда. Александра Ивановна - теща моя, Геннадий Андреевич - тесть.

Тепляков встрепенулся:

- Это не тот ли самый Геннадий Андреевич, который сплавом на Еденьге заправлял?

- Тот самый.

- О-го! Так его ведь в то лето, нет, позато из-за сплава, где он сплошал, как будто арестовали?

- Было такое. Забрали. А где он теперь. Никто - ничего... Я тоже не знаю...

Они помолчали, слушая стук пароходных колес и выплески волн, брызги которых летели в иллюминатор. Нет, не спали они. Просто лежали на нижних полках. Один - под матрасом. Другой - на матрасе. И оба думали о своем.

- О чем ты сейчас? - спросил Тепляков.

- Ни о чем, - ответил Рябков.

- А я, как философ, мечтаю, - открыл себя Тепляков. - Знаешь, о чем?

- Мне это неинтересно.

- И все-таки? - напирал Тепляков под воздействием хмеля, который кружил и кружил в его голове, выбираясь наружу через вопросы. - Что у меня на уме? Ну-у?

- Откуда я знаю, - отмахивался Рябков.

- Тогда попроще спрошу, - продолжал Тепляков. - Кем, скажи мне, в детстве стать собирался?

- Кто-о? - не понял Рябков.

- Да ты!

- Не помню. Забыл.

- Память слабая, - заключил Тепляков. - А я не забыл!

- Ну и кем же ты стать собирался?

- А ты угадай!

Мите уже надоела игра в эти глупенькие вопросы, и чтоб прекратить ее, грубовато съязвил:

- Парикмахером в дамском зале!

Тепляков иронически улыбнулся:

- Что я? Тово? В дамском зале?

- Ну, тогда пилорамщиком на заводе, - добавил Митя.

Тепляков даже губы поджал, выражая пренебрежение.

- И это не то. Не по мне.

Тут Рябков уловил в себе поднимавшийся из желудка тайный внутренний смех.

- А ты не обидишься, если я правильно угадаю?

- Давай, давай! - поощрил Тепляков. - Чего обижаться.

И Рябков, обозвав про себя собеседника идиотом, убежденно сказал:

- Советским шпионом!

Надо было видеть лицо Теплякова, как оно вспыхнуло рыжим огнем. А в рыжем метнулось что-то живое, очень похожее на хорька, когда тот бросается на добычу.

Тепляков не мог не обидеться, но сдержался. Хотя поставил тут же Рябкова на место:

- Ну, ты, тоже не забывайся. Шпион - это там, за бугром. А у нас...

- А у нас разведчик, - снова сунулся Митя, но на этот раз, попадая в тон настроения Теплякова.

- Другое дело! - сказал последний и тут же накрыл свое лицо непроницаемой завесой. - По правде сказать, такое не каждому и дано.

- Да, - согласился Рябков. - Профессия - я тебе дам. Для самых отборных. Тут нужны острый глаз, башковитость...

- И политическое чутье, - теперь уже Тепляков досказал за Рябкова. И поставил вопрос: - А для чего оно? А-а?

- Для того, - недолго думая, выпалил Митя, - чтоб не спутать врага народа с другом народа.

Кажется, он потерял чувство меры. Не надо бы было подобных сравнений. Он видел, как Тепляков привстал над матрасом, подставив под голову руку, с которой сурово выставилось лицо, нацелив на Митю хмурые брови, а под бровями остановившиеся зрачки.

- Ишь, куда повернул! - не сказал, а холодно, будто стругом по дереву, проскоблил Тепляков. - Уж не себя ли имеешь в виду? Друг народа?!

Тепляков не сразу отвел от Рябкова глаза, все смотрел и смотрел на него, выражая взглядом непримиримость, точно лежал рядом с ним забугорный агент, с которым надо как следует разобраться.

Проснулись они на рассвете. Тепляков, ни слова не говоря, накинул пиджак и поднялся наверх. Снова, как и вчера, скребнула по люку металлическая задвижка.

Попив с матросами крепкого чаю, Тепляков возвратился назад - молчаливый и недовольный, с пустыми руками. Сердился, видать, на Рябкова, сожалея о том, что впустил вчера его в разговор, который казался ему сейчас совершенно недопустимым.

До Вологды оставалось плыть около часу. Во все это время Тепляков слова не проронил. Сидел на полке, но теперь уже на другой, подальше от арестанта, и вся его ладная, как приготовленная к прыжку тренированная фигура выражала бдение человека, который всю свою жизнь шагает в ногу с ОГПУ.

В Вологде их никто не встречал. Было мглисто. Сыпался бус. Рябков, потряхивая плечами, к которым прилипла сырая рубаха, смотрел на быстрого Теплякова, как тот, перейдя дорогу, остановился возле крытой повозки, хозяин которой кого-то, кажется, ждал, не собираясь куда-либо ехать. На Теплякова он даже не посмотрел, но сказал ему, видимо, что-то злое, отказывая в повозке. И зря. Потому как в делах по нагону страха на человека был Тепляков настоящий тертый калач.

Не прошло и минуты, а серый в яблоках мерин, бренча удилами, уже выворачивал на дорогу. Дверь тарантаса, в которую влез Тепляков, была приоткрытой, и Митя, взбираясь следом за ним, увидел спину хозяина экипажа, проблеск копыт и хребтину

коня под сердито прыгнувшими вожжами.

- Но-о, Богатырко!..

10

От боковой стены кабинета, где стоял стол с напитками и едой и впритык к нему еще один стол, но с листами бумаги, кожаной папкой, чернильницей и стаканом, откуда торчал веер ручек с карандашами, оторвался кряжистый, в черной форме, лет 45 человек с высоко подстриженной головой.

- Следователь Салатин, - представился он Рябкову.

Мите стало забавно. Где это видано, чтоб к арестованному такое почтение проявляли? Однако и он представился, чтоб не остаться в долгу:

- Бухгалтер Рябков.

Салатин тут же его поправил:

- Не бухгалтер, а экс-бухгалтер.

К встрече с Рябковым Салатин был подготовлен. Целый день вникал в документы, какие еще с утра передал ему Тепляков.

Был Салатин следователем бывалым по части процеживания людей. Большинство попадавших к нему в кабинет или были невиноваты, или виновны по пустякам. Но встречались и те, кто насквозь был пропитан антисоветчинкой и крамолой. К этим последним он испытывал интерес, как к натурам стоическим и опасным, которых ему предстояло сломать.

Документы, какие лежали в папке, обещали дать впечатляющий результат. Правда, они не стыковывались друг с другом. «Пускай», - ухмылялся Салатин. На то он и опытный комбинатор, чтоб все фамилии, акты и факты скомпоновать, построив тревожащую картину, в которой бы был задействован спрятанный враг.

Вот она, с виду такая обычная папка. А в ней: протоколы допросов двух служащих Верхнего леспромхоза, письмо выселенца Вагулы, телеграмма о том, что Вагула сбежал, сообщение о письме, какое все тот же Вагула передал служащим леспромхоза и, наконец, подробный, на двух с половиной страницах, донос Краснолобова на Рябкова. Оставалось последнее - выбить повинную от Рябкова, который бы рассказал о своем сочувствии к выселенцам, как дошел до такой он жизни, что предшествовало тому и на чем держалась и держится связь его с кулаками.

Салатин, как только увидел подавленного Рябкова, едва того ввели в кабинет, так и понял, что много возиться с ним не придется: арестантик устал и сделает так, как подскажут. Уверенность придавал Салатину опыт. Где-то там, за плечами его стояли долгие годы разоблачений и тех фантастических обвинений, после которых похожий на ангела подарестный терял свою кротость и становился вскипчивым, как кипяток, а тот, кто был тверд, превращался в послушный студень, расплываясь по формам, подставленным под него.

Высоколобый, с насмешливыми губами, подтянутый узким ремнем поверх форменной гимнастерки, Салатин ходил в своих гладких, бутылями сапогах по обширному кабинету, то и дело вглядываясь в Рябкова, чье невыбритое лицо, неопрятная, в складках рубаха подсказывали о том, что он не только не выспался и устал, но еще и растерян.

- Краснолобов кто тебе будет? - спросил Салатин.

- Никто, - ответил Рябков, - просто мы работаем вместе.

- Работали, - поправил Салатин. - А что он за человек?

- Очень даже хороший.

- Конфликтовал, быть может, с тобой?

- Нет. Всё у нас с ним нормально. Никаких там конфликтов.

- А почему он тебя так не любит?

- Этого быть не может!

- Душа у тебя, Рябков, благородная. Сам тонешь, а губителя своего выручаешь.

- Какого губителя? Не понимаю. К чему это вы?

- К тому, что он тебя предал!

- Краснолобов? Да не-е. Не может такого быть. Да и в чем предавать-то меня, если я незаконного ничего такого не делал.

- Хорошо говоришь, экс-бухгалтер Рябков. Деликатно, я бы сказал. Но ведь это слова. И только. А вот твой Краснолобов, в отличие от тебя, умеет слова доводить до дела.

- Какого дела?

- Такого, где грандом, как выражались когда-то испанцы, являешься ты! Садись! - Салатин тылом ладони махнул к стене, на которой висел портрет чекиста Менжинского, а под ним стоял тяжелый, на толстых опорах коричневый стул. - И слушай! Без комментарий!

Усаживаясь, Рябков повел скептически носом, как бы заранее подвергая сомнению всё, что сейчас ему прочитают.

«Знаю Рябкова давно, - заговорила бумага, над которой склонился следователь Салатин, - казалось бы, с виду такой аккуратный, добрый, а на деле - скрытный-прескрытный. Характером весь в отца. Отец вел торговлю, имел два дома. Один - обычный, другой - двухэтажный. Двухэтажный советская власть реквизировала, передав его неимущим. После этого он обиделся на нее. Зло затаил. Сыновей своих воспитывал в буржуазном духе, с глубокой верой в религию и царя. Жили они припеваючи. До революции Рябковы устраивали в городе духовые концерты. Любимой песней была «Боже царя храни». Дмитрий Рябков и сейчас поет этот гимн. Не открыто, а так, чтоб никто не слышал...»

«Это ж про братьев моих, про отца! - не сразу поверил Митя. - Теперь про меня. Зачем это он? Кто просил?»

«...Старшие братья Рябковы служили у белых. Служил бы у них и Дмитрий, если бы возрастом был, как они. В Красную Армию идти они наотрез отказались. Но увильнуть от нее все-таки не смогли. Стали служить. Но как? В Шенкурске перешли на сторону англичан, которые их содержали в бараке. Почему в бараке, точно не знаю, но то, что они не сделали ни одного выстрела по интервентам, это истинный факт...»

В голове у Мити вдруг неистово закружилось. Он взглянул на бумагу в пальцах чтеца и увидел, как из нее словно бы вылезли уши - настороженные, с завиточками из хрящей. Краснолобова не было в кабинете, но уши его торчали, слушая собственный труд, который читал выразительным голосом следователь Салатин. Митя тряхнул головой - и видения как не бывало. И с этой минуты он слушал чтеца уже безучастно.

«...И тесть у Рябкова с таким же нутром. Звать его Геннадий Андреевич Коляда. Командовал сплавом. До того докомандовал, что 5 тысяч кубов молевого леса оставил гнить на склонах реки. За это был признан вредителем и арестован. Было это три года назад. Рябков в ту весну обращался ко мне: не знаю ли я в верхах человека, который бы мог за его Коляду заступиться? Я и знал бы, так не сказал. Вредителю нечего делать в советском хозяйстве. Его место в лагере или тюрьме.

Братья у Дмитрия Рябкова поумирали. Отец тоже умер. Однажды Дмитрий поведал мне, будто тайну, сказав, что в смерти отца и братьев считает повинными эсэсэровские порядки. Как он их проклинал! Считал, что колхозы надо все немедленно распустить. Кулаков возвратить на родные земли. Экспроприированные дома и хозяйства вернуть законным владельцам. А большевистскую власть заменить властью, какая была при последнем царе.

Спецпоселенцев, которых в прошлом и в этом году отправляли баржами по реке, он жалел. Называл их кормильцами русской земли. Рвался помочь им, только не знал, каким образом это сделать. Сравнивал их даже с птицами. Улетают, мол, птицы на юг, а весной назад возвратятся. Выселенцы же, говорил, уплывают на гибельный Север, все, как есть, околеют в холодной тайге. Он и того кулака, который с письмом к нам совался, как отца, пожалел. Я наотрез взять письмо у того кулака отказался. И ему, Рябкову, брать запретил. Да он не послушался. Взял. И меня хотел подключить к этому гнусному делу. Отдавал мне кулацкое то письмо, чтобы бросил его я в почтовый ящик. Но это

уже ни в какие ворота. Я тут же расстался с Рябковым, как с контрой. И с этого дня я знать его не хочу.

Бронислав Краснолобов.

18 сентября 1932 г.»

- Ну и как он тебя? - бодро высветился Салатин, вставая из-за стола.

- Да никак. Блеф всё это, - ответил Митя.

- Значит, ты с писателем не согласен?

- Не писателем, а писакой, - чуть не сплюнул Рябков.

Салатин прошелся по кабинету в своих бутылочных сапогах, черная кожа которых проблескивала, и Митя вдруг увидел на ней самого себя. И зажмурился, как от солнца. Потом он увидел плечистого, в галифе, с деревянным лицом немолодого бойца из тюремной охраны, который стоял в дверях, выражая всем своим видом: «Есть!»

- Увести его! - дал команду Салатин.

Конвоир отвалился от косяка:

- Куда его? В общую, номер 8?

В общую - это значило в камеру, где трехэтажные нары и где вместо 12 человек все 36. Однако есть одиночка. Вчера в ней было шесть заключенных, а сегодня - ни одного. Такое случалось редко. Однако вчера было отправлено в Котлас более 140 выселенцев, и многие камеры поредели. Поэтому следователь сказал:

- В номер 4. Для избранных, - и задумчиво улыбнулся.

11

Вечер высвечивал перед Митей залитую верхним светом дорогу по коридору. Дорога вела к цифре номер 4, что тускло белела на темном щите, оказавшемся скрипнувшей дверью, которую отворил пожилой конвоир, пропуская Митю в чуть видимую каморку.

Митя поогляделся, полагая увидеть койку и табуретку. Однако не было ничего. Некуда было не только прилечь, но и присесть. Одна лишь параша, стоявшая где-то в углу возле закрывшейся двери. Три шага в ширину и восемь в длину.

Свет, который чуть пробивался с воли в решетчатое окно, был как грязное полотенце. Но Митя был рад и ему. От нечего делать стал он ходить. Ходил, ходил, пока не устали ноги. Остановился. В окне открывался кусочек неба. Был он весь в перепадах подвижных теней, срывавшихся с быстро несущихся туч и тучек. Наносило оттуда хмуростью и пустыней. И вдруг промелькнуло что-то стремительно-светлое, очень похожее на звезду. И Мите почудилось, что и там, где нет никакого пристанища для живущих, обитает чья-то живая душа, которая в эту минуту маялась и стенала, не в силах прорваться сквозь ошалелые небеса.

Митя пошарил ладонью по животу, доставая из брючного маленького кармашка большие, как луковица, часы, под которыми прозмеилась серебряная цепочка. Открывая крышку, поднял часы к глазам. Но как ни всматривался он в циферблатное поле, не увидел ни цифр, ни стрелок.

- Не знаю, сколько и время, - посетовал про себя.

Хотелось есть. Где-то под ложечкой засосало. И Митя, как наяву, увидел стол в кабинете Салатина, аппетитно дразнивший булочкой с маком, шпротами, сыром и колбасой. Не для него такое богатство. Для кого-то другого, кто, наверно, сейчас у следователя сидит и наслаждается этой пищей. Сегодня Митя еще не ел. «Всяко ведь принесут», - решил про себя.

Но шаги в коридоре не раздавались. И Митя подумал, что так с ним обходятся специально - готовят к какой-нибудь экзекуции, чтобы он ослабел, поубавился силами, стал послушнее и глупее. Потому и койку отсюда убрали. И свет отключили. И решили морить его без еды и воды.

«Ничего, - усмехнулся Митя, - мы еще постоим за себя». Он приблизился к двери и казанками двух пальцев начал выстукивать дробь.

Подошел дежурный. Открыл в двери махонькое оконце, сверкнув оттуда рассерженным глазом.

- Чего шумишь? - прошипел.

- На-а, - Митя подал ему часы.

Дежурный опешил:

- Это чего?

- Тебе - часы, мне - горбушку с водой, - объяснил ему Митя.

Часы исчезли в морщинистых пальцах, одно из которых блеснуло дешевым колечком.

От двери Митя не отходил. Ждал, как ждут продолжения жизни.

Шагов дежурного он не услышал. Слишком тихо и бдительно тот подошел.

- Только быстро, - шепнул он, просовывая в оконце глыбку ржаного и кружку с водой.

Подторапливать Митю не надо. Минута понадобилась ему, чтоб насладиться чудесным хлебом и такой же чудесной водой.

«Выигран день! - подумал Митя, отмеривая шагами четыре метра в длину и два в ширину. - Впереди неизвестность. Что же? Бояться ее? Нет. Бояться нельзя. Пусть она будет со мной постоянно, как утешительница моя. Лучше не знать ничего, чем знать будущее свое». И все-таки, все-таки было для Мити непостижимо - столько в нем было душевности, жизнелюбия, доброты! И вот всё вырвано из него, и стал он теперь как ошибившийся дверью изгнанник, попав туда, откуда не выпускают.

Надо поспать, понял он, чувствуя ломкость в шее, с которой вот-вот готова была свалиться сморённая голова. Но как это сделать? Рубаха на нем чересчур тонка, чтоб уберечь его от сырости пола, доски которого так и струились холодными сквозняками, отдававшими гнилью дерева и землей.

Усталость сама его повалила. Лежал Рябков на стылом полу. Чтоб подсогреться, то и дело ежился и вертелся, осязая пол то спиной, то боками, то животом. Иногда он все-таки забывался, проваливаясь в объятия рваного сна, откуда напахивало щемящим, да так, что болела душа, и он видел свой дом, свой двор, траву во дворе, в которой стояли его мать, жена, дочурка и сын.

- Иди же сюда! - кричали они ему, улыбаясь. - Мы соскучились по тебе! Где же ты там?

И он, раскинув в радости руки, делал к ним шаг. И второй - вслед за первым. Но третий шаг повисал в пустоте. И не видно было уже ни лужайки двора, ни жены, ни матери, ни детей, словно они упрятались от него, упрятав вместе с собой и свои улыбки.

Митя вздрагивал, открывая глаза. Много раз так он вздрагивал, пока не увидел пучочек света, робко стекавший в камеру из окна. И не хотелось верить, что сейчас он не там, где была свисавшая с веток листва, осенняя улица и свобода. Слышно было, как где-то рядом прошелестела колесами медленная телега. А чуть подальше под чьими-то легонькими ногами проскрипели ступеньки крыльца. Отдавало такой узнавающе русской, такой устоявшейся стариной, что мнил себя Митя чуть ли не барином на качелях, летящих под ветками древней березы куда-то к очень большой тишине, которой запружены были и город, и речка Вологда, и переправа через нее, и высокий, как сказочный сон, Софийский собор.

12

Нужен был покровитель или солидный авторитет, чтоб попытаться с его поддержкой вытащить мужа из следственных лап. К кому обратиться? Кто войдет в ее положение и попробует Любе помочь?

В райкоме партии она никого не знала. В райисполкоме был некто Белочеистов, довольно влиятельный клерк, имевший вес в кругах районного руководства. Когда-то он вместе с Митей учился в Лесной. Но Митя Белочеистова не любил за его привычку все время кого-нибудь поправлять и казаться подчеркнуто грамотным и идейным. К тому же Белочеистов был холост, не пользовался успехом у женщин и в каждой второй из них был готов углядеть пустую прелестницу или дуру.

И все-таки Люба решилась с ним повидаться. Поймала его на улице, когда он шел с работы домой.

Белочеистов не удивился, что к нему обращались с такой нестандар-

тной просьбой. Однако, выслушав Любу, он посмотрел на нее из своего далёкого далека, что привычно стояло в его осторожных глазах, и спросил, как спрашивает блюститель правопорядка того, кто нарушил закон:

- Вам что? Угодно, чтоб я посочувствовал вашему мужу? - строгое, малых размеров личико Белочеистова стало по-детски обиженным и недобрым. - А последствия каковы? Таковы, что я окажусь в таком же рискованном положении, в каком сейчас пребывает ваш муж. Я же не враг самому себе...

Белочеистов ушел, унося свое запакованное в костюм некрупное тело, каждая точка которого объявляла о легкой досаде, какая осталась в нем от беседы.

Люба не обижалась. Такое уж время. Редко кто не имел своего мирка, в котором бы мог укрыться от неугодных ему неприятностей и волнений.

Но были и те, кто прятаться не умел.

К директору леспромхоза Ивану Петровичу Бунтакову, известному в городе человеку, с кем за ручку здоровались сам секретарь райкома, сам председатель райпо и сам прокурор, Люба, наверно бы, не пошла: слишком уж был он влиятелен и невольно пугал своим мощным авторитетом. Но за ним закрепилась слава горячего острослова, кто не боялся спорить с любым начальством, принципиально отстаивая свое. Потому и пришла в его кабинет.

Выслушав, что она хочет, Иван Петрович сказал:

- Никак не думал, что наши органы так оплошны и близоруки. Рябкова, бухгалтера своего, отдать кому-то на растерзание? Нет! Ведь я его знаю как перспективного, делового специалиста! Знаю и как деликатного, доброго, нежной конструкции человека, кого у нас в аппарате любят буквально все!

Было приятно Любе слушать Ивана Петровича, мужчину еще не старого, с атлетическими плечами, чей голос звучал уверенно и весомо, как, утверждая: всё, что сказал он сейчас, не будет опровергаться, и дело устроится именно так, как он говорит.

Он тотчас же навис над столом, потянувшись рукой к телефонному аппарату, чтобы вызвать прокуратуру. Прокрутил его и, приставив трубку к щеке, неторопливо заговорил:

- Здравствуйте, Игорь Евсеевич! Да, это я, Бунтаков! Без бухгалтера я. Без него. Без Рябкова. Как же это? В чем дело? Вот и жена его тут. Надо. Надо исправить. Это не дело, а полудело. Дать ему ход. Ход обратный! Я за него ручаюсь. Отвечаю собственной головой... Что-о! Что вы сказали? Да-а... Я внимателен. Перебиваю... Всё, всё, молчу...

Минут пять или шесть вслушивался директор в трубку с голосом прокурора. Его тяжелое, в складках на подбородке лицо было вначале твердым и выражало необходимость сделать все именно так, как он говорит. И вдруг оно потускнело, нос опустился, а щеки обрызгались нервным румянцем.

Опуская трубку на рычажки, Бунтаков напряженно вздохнул и, не глядя на Любу, заговорил:

- Дело серьезное. Даже сам прокурор бессилен в него вмешаться. ОГПУ - это страшная сила. Прав - не прав человек, но, если он к ним попался, добра не видать. Сволота! Была бы воля моя, я бы всех там перешерстил...

Бунтаков был подавлен. Пальцы схватили химический карандаш, который стоял в стеклянной стопе вместе с другими карандашами.

- ОГПУ - это страшная сила! - повторил он, сжимая в пальцах хрустнувший карандаш.

Слишком смел был Иван Петрович. Чтобы так высказываться о силе, под которой ходила вся трудовая страна, надо быть очень, очень неосторожным. Не гадал, не чаял Иван Петрович, что однажды придется ему заплатить за несдержанные слова, которые были услышаны тем, кто хотел стать и стал директором леспромхоза. Но это будет потом, через год, а сейчас он смотрел на потухшую, в шляпке с брошью, красивую женщи-

ну, как та встала, сказала: «Простите» - и потерянно вышла за дверь.

Куда и к кому теперь? Люба не знала. Поэтому тыкалась, как слепая, в редакцию местной газеты, в гимназию, где когда-то учился Митя, и даже к старому, при Георгии, кавалеру, который служил вместе с братьями Мити в царских войсках.

Всюду выслушивали ее с пониманием и желанием как-то помочь. Но дальше все повторялось, как в кабинете директора леспромхоза, и оставалась Люба снова и снова ни с чем.

Правда, еще оставалось место, куда она не ходила - дом с мезонином на улице Дальней, где жил с семейством своим Бронислав Краснолобов. Полагала Люба, что Броня был арестован и тоже, как Митя, мытарит сейчас в тюрьме.

Как она изумилась, когда свекровь ее Ольга Васильевна тихо спросила:

- У Броньки-то хоть была?

- Дак он же в тюрьме! - ответила Люба.

- Ни в какой не в тюрьме. Видела даве. Проходил мимо нас с хозяйственной сумкой.

- О-о! - глаза у Любы остановились. - Как же это? Был в тюрьме - и на тебе, дома?! Не понимаю...

Ольга Васильевна предположила:

- Значит, выпустили оттуда...

Встрепенулась Люба, погладила деток своих, которые так и льнули к ней, ласково улыбаясь, - и снова к порогу. - Тогда я к нему! Разузнаю хоть всё!

Спешила Люба. Мосточки под ботиками знай поскрипывали и пели. Вся Тотьма была в деревянных мосточках.

Недавно шел дождь. Сквозь доски забора, стряхнув с себя сырость, выглядывала крапива. От налитых луж дорога светилась белыми зеркалами. На одном из них, налакавшись воды, облизывался котенок. С реки доносился скрежет лебедки. Везде была жизнь, обнажая себя через звуки города и реки, прель земли и посвисты крыльев, с какими срывались с карнизов и веток веселые полчища воробьев.

Вот и дом с мезонином. Люба узнала его. Была как-то с Митей на вечеринке. И хозяин его запомнился ей как хвастливый остряк, любивший, чтоб слушали только его. В тот раз он бахвалился тем, что станет однажды директором леспромхоза. И женой похвалялся, сказав, что она поэтесса, пишет стихи не хуже, чем Маяковский, и скоро выпустит первую книгу.

А о дяде своем, который был в Вологде и работал в заготконторе, прямо-таки осанну пропел, поведав о том, что дядя в цене, проживает в одном подъезде с самим председателем окружкома, давно с ним на «ты», встречаются каждый вечер, и оба вот-вот закатятся в Тотьму, чтобы нагнать на кого-то здесь страх.

Люба взошла на крыльцо. Отворила дверь, потом и вторую. Ее здесь не ждали.

Хозяин сразу насторожился, покраснев не только лицом, но и всей своей гладко выбритой головой. Жену и дочку тут же отправил из комнаты в кухню. Уселся за столик с черненькой статуэткой Владимира Ильича, где вождь народов с кепкой в руке был похож на хищного ворона перед взлетом.

Краснолобов заговорил:

- Хотел я встретиться с Митей, да вот, не дали. Так и не видел его с тех пор, как расстались на берегу. Почему нас с ним задержали - убей, не пойму! Ведь мы же не сделали ничего. Просто шли. Рассуждали о том, о сём. Баржа еще, правда, была. Люди с нее. Перемолвились с нами они. И мы перемолвились с ними. И всё. Думаю, нас по ошибке забрали. Надеюсь, надеюсь, что разберутся. Выпустили меня. И Митю должны... - глаза у Брони были сообразительны и быстры, останавливались то на ковре с оленем, просторно распластанном на стене, то на фарфоровом слонике на комоде, то на фигурке Ленина под горшком с цветущей геранью, цветы и листья которой свисали, задевая голову Ильича. Лишь на кушетку, куда пристроилась гостья, он не смотрел.

Люба же с первой минуты услышала в голосе Брони тщательное стара-

ние как-то выгородить себя, чтоб предстать перед ней в страдательном виде, когда рассказчику надо сочувствовать и, внимая ему, согласно покачивать головой.

Любину грудь разрывало отчаянье. Как же так? Если оба не виноваты, то отчего Краснолобов дома, а Митя в тюрьме?

- Непонятно, - сказала она, - почему его не выпустили оттуда? Может, вы по-разному отвечали? И следователю из вас двоих понравился ты?

Краснолобов так весь и дрогнул, словно его разглядели таким, каким он и был.

- Ну, Люба! - сказал он, вымучиваясь в гримаске. - Надо же так сказать! Говорю тебе: вышла ошибка! Я тут совсем ни при чем!

Женским чутьем своим уловила Люба, что хозяин не все говорит, что знает. А то, что знает, старательно прячет. Конечно, не думала Люба, что Краснолобов свободу свою получил в обмен на донос.

- И что же мне делать? - спросила она, еще надеясь на Митиного дружка, который возьмет вдруг и выручит Митю, найдя спасительный выход из тупика.

- Ждать! - откликнулся Краснолобов.

- А ты знаешь, что он теперь в Вологде?

- Нет, не знаю.

Люба напомнила:

- Ты говорил, что там у тебя есть влиятельный дядя. Поговоришь, может, с ним.

- Это мысль, - кивнул Краснолобов. - Обязательно поговорю.

- И когда же поговоришь?

- Где-то через недельку. Раньше меня не отпустят. А там я как раз отправляюсь в отпуск.

- Нет! - отказалась Люба. - Так не пойдет! Сделаем по-другому! Пароход отправляется в 9. Сейчас без пятнадцать шесть. Можно успеть. Собирайся-ка тоже. Поедем вдвоем. Ты и я.

Краснолобов обиделся:

- Знаешь что, Люба. Не надо! Нельзя же так сразу. Сказал ведь тебе: не могу! Так что, пожалуйста, не командуй.

Почему-то Любе стало брезгливо смотреть на обкатанное, с обиженными губами лицо Митиного дружка, который тщился выглядеть добропорядочно и пристойно. Отпало желание с ним разговаривать дальше. Она поднялась и молча пошла, ощущая затылком его тусклый взгляд. Взгляд унылого мизантропа, очень хотевшего, чтобы с мужем она не встретилась никогда.

13

Среди сотрудников окружного ОГПУ следователь Салатин считался специалистом высокого класса, имевшим классовое чутье на всех противников существующего режима. Особенно был он приметен в том и в этом году, в пору, когда через Вологду отправлялись на Север десятки тысяч крестьянских семей, и нужно было за ними следить, следить и еще раз следить, выявляя самых смутьянистых и зловредных. В работе своей он был щепетилен. Всё в его кабинете - портреты вождей, стул, куда садился доставленный арестант, стол служебный с шестью выдвижными ящиками, в которых хранились досье, протоколы и прочие документы, стол столовый, где не было ничего, но могло появиться, как скатерка-самобранка, при нужной беседе с нужным лицом, вешалка с летним плащом и фуражкой-сталинкой с низкой тульей, и даже двойные двери с дежурившим в них супербдительным конвоиром - всё имело свое постоянное место для заведенного здесь расположения и порядка.

Сегодня Салатину не терпелось поставить точку над делом Рябкова. Поэтому он и вызвал его с утра. Дело было из ускользающих, даже скользких. Фактов было достаточно, но все они били не в цель, а рядом. Единственно, что мог придумать Салатин, - это заставить Рябкова сделать самодонос - наговор на себя. Но для этого он был должен Рябкова как следует обработать, превратив его в послушное существо, смирившееся с участью жалкого доходяги, который не хочет уже ничего.

Салатин заранее зарядил себя предвкушением превосходства над подарестным, уже и вчера почти сломленным, а сегодня, после бессонной ночи, после того, как целые сутки не ел и не пил, он будет еще хилее, а значит, сговорчивее и мягче, и потому свою подпись поставит там, где укажут.

Салатин несколько удивился, когда увидел Рябкова почти таким же, как и вчера, даже еще бодрее, хотя, конечно, сморённый вид его, гусиная кожа лица и безвольно опущенный подбородок говорили о том, что чувствует он себя очень скверно.

- Как ночевалось? - спросил Салатин, как только Рябков предстал перед ним, уныло помаргивая глазами.

- Нормально, - ответил Митя.

Салатин взглянул на подследственного с прищуром, как столяр из морга, прикидывая размеры тела, чтоб без проблем поместить его в гроб.

- Присядь, присядь, - разрешил он, уничижительно улыбаясь, словно стоял перед ним калека, и это хотелось сейчас подчеркнуть.

- Тебе, экс-бухгалтер, - заговорил методично, будто вбивая в Рябкова за гвоздиком гвоздик, - надеяться не на что. Так и так ты пропал.

Митя пошевелился. В остро осунувшемся лице, в морщинках около губ, в том, как сжал он свои ослабевшие пальцы, забирая бока рубахи, и откинул к стене беззащитный затылок, было нечто отчаянно-гордое, с вызовом и презрением, как у белого офицера перед расстрелом.

- Но ты же умный, - продолжал заколачивать гвоздики опер Салатин, - не усложняй себе жизнь. Делай так, чтоб такие, как я, тебе были в помощь, а не в страданье. Не заставляй меня мучить тебя. То, что я прочитаю сейчас, не я написал, а ты. А раз так, то и подпись твоя.

Рябков ничего не понял. Однако сообразил, что опер затеял какую-то пакость. И он посмотрел на него, как сказал: «Это еще поглядим!»

Салатин достал из кожаной папки заполненную бумагу и начал читать:

«Подтверждаю, что я родился в 1901-м году в семье богатого тотемского купца, что старшие братья мои служили в действующих частях Белой гвардии. В 1918 году идти служить в Красную Армию отказались. А когда были мобилизованы, то перешли на сторону Антанты. И так же, как мой отец, до конца своей жизни оставались непримиримыми врагами Советского государства.

Лично я поддерживаю своего отца, своих братьев, а также своего тестя Коляду Геннадия Андреевича, арестованного в 1930 г. как противника коммунистического режима.

Меня глубоко возмущает ленинский лозунг 1918 года: «Грабь награбленное!», из-за которого многие зажиточные граждане страны, в том числе и моя семья, потеряли свои дома и имущество. В настоящее время верховные власти страны проводят чудовищный эксперимент над русским народом, заставляя крестьян насильно вступать в колхозы, переселяя самые лучшие слои населения на непригодные для нормального обитания земли. Считаю необходимым возвратить гражданам страны отобранные у них дома, имущество, скот и землю, ликвидировать все колхозы, возвратить на родину всех сосланных спецпереселенцев, уничтожить колонии и лагеря для политических заключенных».

- Ну, вот и всё, - улыбнулся Салатин .

Митя тоже попробовал улыбнуться, однако не получилось.

- Рискуешь, Салатин, - сказал. - А если раскроют тебя? Узнают, что эту туфту не я написал, а ты. Что тогда будет с тобой? Не боишься?

- Ошибаешься, экс-бухгалтер! - Салатин откинулся к спинке стула. Лицо его стало одновременно веселым и огорченным, и это смешение двух разных действий многих пугало, как может пугать нечистая сила, неожиданно спрыгнувшая с лица. - Я, да чтоб рисковать? Никогда! Поверят кому? Мне! Но никак не тебе! Вот так, господин бунтовщик! На вот тебе! Подпиши! - и Салатин широким движением вывел рукой полукруг, заби-

рая в него Рябкова, стол с бутербродами и нарзаном и стол, за которым сидел он сам, двигая к краю его ручку с чернильницей и бумагу.

- Нет! - отказался Рябков.

Глаза у Салатина острые, стали еще острей, как у птицы, которая высмотрела добычу, но тут же добычу и упустила.

- Себе же делаешь хуже, - сказал он с желчью. - Вчера, говоришь, не ел и не спал. Вот и сегодня такое же будет. Увести его!

Уходил Рябков от Салатина с ощущением ноющего затылка, словно там колупались чьи-то холодные пальцы, пытаясь достать ускользающий мозг.

14

Митя сидел, прислонившись к стене. В горле его полыхало. «Воды мне, воды! - мечтал и сам же себя обнадеживал, полагая: - Вечером, может, и расстараюсь». Он достал из кармашка серебряную цепочку от бывших своих швейцарских часов. Была она грузной. Так и осела в ладони. Когда-то он заплатил за нее полумесячную зарплату. А сейчас был рад поменять за кружку воды.

В голову лезли разные думы. Думал Митя не о себе. Что он теперь? Пылинка, которую ветер, рыскавший по стране, занес в эту сумрачную каморку. А вот родимая мать, жена его Люба, сыночек Мишутка и доченька Галя - это очень и очень значительно для него. «Одни! - печалился он. - Без меня. Кто их будет кормить? Заступаться за них? О, Боже! Как? Ну, как они там?»

«Дай Бог!» - ответило где-то в груди, и Митя всеми своими кусочками тела учуял заветное время, в каком пребывал когда-то его отец, и, больше того, его дед, а возможно, и прадед, и прапрапрадед, посылая оттуда ему эти два смирных слова, в которых почувствовал он соучастие и любовь.

Из щелей оконного переплета нанесло духом скашиваемой отавы. Оттуда же и приветливым голосом нанесло:

- Поди-ко, Василей, домой! Хватит стараться! Завтра! Завтра докосишь!

Там свобода. Скошенная отава. Женщина на крыльце. «Не моё это всё!» - поугрюмел Рябков, пожалев, что так мало осталось в нем сил. А без сил невозможно было и возмущаться на всё то, что проделывает Салатин, превращая его в государственного врага.

Решетчатое окно постепенно из серого с бледными бликами становилось сначала задумчиво-синим, чуть позднее - лиловым с траурной чернью и, наконец, совсем затянулось непроницаемой темнотой, какая бывает в разгаре осени в поздний вечер, перед тем как на землю опустится ночь.

«Пора», - сказал себе Митя и нащупал подошвами пол, чтоб, пройдя по нему, натолкнуться на дверь, за которой был коридор, а в нем, как глухие щиты, двери камер, где кипел человеческий муравейник бывших вольных людей.

Постучал как будто негромко, но коридор подхватил тихий стук, увеличивая его, и первый, кто услышал его, был тюремный дежурный. Открывая оконце в двери, он сердито осведомился:

- Ну-у?

Митя подал ему цепочку.

- Воды и хлеба, - еле вытолкнул из себя, настолько сухо было во рту.

Ожидание хуже смерти. Митя ждал, прислушиваясь к шагам. Но они ниоткуда не раздавались.

Рассердился. Такое случалось с ним только тогда, когда обнадеживали его. Нынче его обнадежил дежурный. «Ну, скорее же, мой мучитель!» - торопил его Митя. Но дежурный не думал к нему торопиться. Как исчез. Нет и нет. И не выдержал Митя. Пнул носочком ботинка. Сдержанно пнул, несильно. А потом осмелел - зачастил, и стуки его, разрастаясь, недозволенно громко вырвались в коридор.

Замочная скважинка скрежетнула. Дверь распахнулась, впуская в камеру клин коридорного света и в этом свете - дородного служащего тюрьмы в распоясанной, без ремня военной рубахе со следами снятых петличек в отворотах воротника.

- Чего тебе? - он сделал к Мите предупреждающий шаг.

- Воды, - хрипло выдохнул Митя.

- Не положено, - молвил тюремщик.

Митя напомнил ему:

- А цепочку брать у меня что? Положено?

Тюремщик готов был к такому вопросу. Губы его удивленно скривились, а кончики плеч чуть привстали и остались стоять, выражая недоумение.

- Я? Цепочку? Не понимаю? Ты меня, господин арестант, с кем-то спутал.

- Значит, не брал у меня цепочки? - Митя начал слегка заводиться.

- Не брал, - ответил дежурный и даже руками полуразвел, подтверждая свою непричастность к цепочке, которую спрашивают с него.

Но Митя уже заметил, как на одном из его морщинистых пальцев тускло выблеснуло колечко. То самое. Его он запомнил, когда совал в оконце свою цепочку, а за сутки до этого - и часы.

Митя почувствовал, как его прошивает негодование. Он презрительно улыбнулся:

- И часы, может, скажешь, не брал?

Тюремщик слегка помрачнел. Понял, что лучше не притворяться. Лучше возвысить себя, как силу, перед которой можно и побледнеть. Закиданные бровями стоячие с прозеленью глаза его осматривали Рябкова, будто козявку. А что с козявкой? Козявку можно и раздавить.

- Чего пристал? - в голосе зрело неодобрение.

Рука же, качаясь каждым отдельным пальцем, коснулась Митиного лица, как снимая с него паутину.

Митя приотшатнулся. Хотел было сплюнуть. Но не было сил на плевок. И тюремщик, заметив это, требующе придрался:

- Чего плюешься?

Митя кивком головы показал на левую руку служащего тюрьмы, где сидело дешевенькое колечко. Оно-то вместе с ладонью тюремщика и прошлось по Митиному лицу, задевая еще и губы.

- Брезгую, - Митя смотрел на тюремщика, как на бывалого мародера.

- Ну ты и сучка, - сказал тюремщик, - а брезгуешь-то с чего?

- С того, что ты, - шевельнул губами Рябков, - имеешь дело и с ними.

- С кем? - тюремщик вспыхнул. Было видно, как по его широкому горлу поднялась воспаленная краснота, в один миг захватившая подбородок, рябые щеки и узкий, в трещинках лоб.

- С покойниками, - ответил Митя, - снял у кого-то из них и носишь.

Дальше он сказать не успел. Угол света, летевший из коридора, вдруг заполнился чем-то рванувшимся и урчащим. Митя почувствовал ноги свои, отделившиеся от пола. В следующую секунду он был уже в дальнем углу. Хотел было голову приподнять, но тут приметил носок сапога, летевший откуда-то сверху ему навстречу. Страха не ощутил. Но ощутил что-то очень тяжелое, широко ворвавшееся к нему куда-то под селезенку. Сквозь возникший в ушах резкий свист разобрал:

- Это тебе за покойников и колечко.

И еще разобрал скрип ключа, провернувшегося в замке.

Было забвение, однако и в нем он увидел не только себя, но и будущее свое. Мрело оно далеко-далеко, может быть, за землей, в нежилой пустоте, где, помимо огромной, как вечность, ночи, уже не было ничего.

Тут открыл он глаза и увидел окно, а в нем встреч ему - белоперую тучку. «Хорошо бы, - сказал про себя, - оказаться на этой тучке. Прокатиться на ней, как на лошади, километриков эдак 200, увидеть свой город, свой дом и свой двор, а во дворе свою маленькую семейку. И крикнуть оттуда: «Я тут! Я сейчас опущусь!»

И испомедля опустился. Но не во двор опустился, где ждала его радостная семейка, а в глухое и темное забытье.

15

Утром Митя очнулся, удивляясь тому, что еще живой. Боль под нижним ребром, тоска по стакану воды, сон на холодном полу, изолированность от мира - все это изматывало

его, загоняя в последний угол, откуда не дозовешься ни до кого. Он и сам понимал, что сдает, к тому же был сильно простужен, тело чесалось и лопалось от нарывов, и тупо ныло под селезенкой, куда угодил удар сапога.

Тюремщик пришел за ним поздно утром. Привел в кабинет Салатина и остался в дверях - широкоплечий, дородный, с бронзовой бляхой на животе - само послушание и усердность.

Митя же выглядел хуже не надо. Он стоял в трех шагах от стола хозяина кабинета. В своей суровой рубахе с рваной прорехой на животе, отощалый и бледный, с синими тенями под глазами, был похож он на замухрыгу, который здесь для того, чтобы выпросить жизнь.

- Ну, и как ночевалось? - спросил Салатин.

- Добро, - сипло выдавил Митя, не узнавая голоса своего.

Салатину нравились замухрыги. Они уступчивее и мягче, и редко кто из них гоношится и вступает в ненужный спор. Он старательно улыбнулся и рукой лихого официанта сделал взмах, приглашая Рябкова к столу, где белела фарфоровая посуда, от которой по воздуху кабинета плыл, казалось, не запах кухни, а кухня сама.

- Чего уж там. Подходи. Знаешь сам, чего от тебя добиваюсь. Подписи на бумаге. На этой самой, какую вчера я тебе зачитал. Ну-у! Иди же сюда. Царапни! - в руках у него шелестнул заполненный лист.

Митя что-то сказал. Но что именно, непонятно.

- Дай воды, - снизошел Салатин, посмотрев на дверь с постовым, хотя мог бы и сам ее дать, благо рядом сидел, наклонись лишь да вытяни руку через собственный стол к другому столу, на краю которого белоснежно сияла чашка, до краев наполненная водой.

Постовой, он же стражник, дежурный, боец, надзиратель и даже буфетчик, совмещавший в себе десяток профессий, был проворен и скор, моментально вырос перед Рябковым, поднеся ему чашку с водой.

Митя выпил и сразу почувствовал жизнь. Вернее, не жизнь, а ее короткое шевеление и испугался, что может оно оборваться и он не успеет доделать то, что был обязан доделать во имя честного имени своего. Повернувшись к Салатину, он сказал:

- Зря стараешься, опер! - голос его был чист и, кажется, весел. - Эту подставу, - кивнул к столу, где лежала бумага с крамолой, - не я написал, а ты!

Удивился Салатин. Да за такие напоры он любого сотрет в порошок! Хотел уже было рыкнуть по-генеральски. Да что-то остановило. И он, взглянув на бумагу, взял ее и взмахнул перед Митей, дразня его, как мальчишку:

- А не докажешь!

- Уже доказал! - усмехнулся Рябков.

- Каким это образом? - насторожился Салатин, не веря подследственному, но все же решив понять его до конца.

- Я сообщение написал.

- Чем?

- Вот этим! - рука у Мити свалилась в брючный карман, вынимая оттуда огрызок карандаша.

- И кому же ты написал? - допустил Салатин невероятность такого факта и, не поверив в предположение, обнял ладонями свой затылок и запокачивался на стуле, показывая Рябкову, что он считает все это вздором.

- Ему! - мягко ответил Митя и повел головой к стене, где висел заключенный в багетную раму сам председатель ОГПУ. - Вячеславу Рудольфовичу Менжинскому.

Салатин немедленно построжал, и взгляд его, которым обмерил Митю, стал, как у ястреба, острым и точным.

- Ты давай-ка не забывайся!

- А я и не забываюсь, - Митя был не только серьезен, но и суров, и лицо его выражало пренебрежение, мол, не веришь, так и не надо.

Салатин немного заволновался, забарабанив пальцами по столу.

- Ну и что в твоем сообщении?

Митя с готовностью объяснил:

- То, что следователь Салатин призывает к свержению существующего режима.

И опять усмехнулся Салатин:

- Ну, допустим: ты написал это глупое сообщение. Так куда ты его? Спрятал, что ли? Сунул, может быть, под парашу?

- Ну, зачем? Сообщение я не прятал. Просто я его передал. Есть же послушные люди. Я и отдал его одному из них.

- И кому? - голос следователя не дрогнул, лишь слегка приосел. И глаза приуменьшились, словно дунул на них встречный ветер.

- Вон ему, - показал Рябков на стоявшего перед дверью дородного служащего тюрьмы.

- Что-о?! - смутился Салатин.- Не может такого и быть!

- Не за так же он это сделал.

- Не за так?! - Салатина так и сорвало со стула. - Тараканов! Сюда!

- Я за это ему часы и цепочку, - добавил Митя.

- Врет он всё! - рванувшийся от дверей постовой был готов сокрушить Рябкова.

Однако ждал его не Рябков, а Салатин, и он, споткнувшись на ровном месте, в замешательстве обнаружил сорвавшуюся цепочку, как та, выскочив из кармашка, качнулась поверх галифе по его ноге, да так и осталась висеть, как какая-нибудь нелепость.

- Это правда?! - следователь сверлил глазами, которые не прощают. Был он лилов, и голос гремел так звучно, что кто-то зашедший уже в кабинет тут же обратно и унырнул, деликатно прикрыв за собою двери.

- Врет, врет, - повторил Тараканов.

- А это чего? Это?

Салатин петух петухом подскочил к Тараканову. Схватил цепочку, и та вместе с луковицей часов оказалась в его ладони.

- Бес попутал, - понурился Тараканов.

И был он в эту минуту таким потерянным и несчастным, что даже Митя его пожалел.

Салатин положил на стол часы и цепочку. После чего уселся, всматриваясь одновременно в Тараканова и Рябкова. Стало тихо, как в морге, куда только что занесли свежий труп.

- Убирайтесь, - сказал обоим.

Тараканов приоживился.

- Этого-то куда? - показал на Рябкова.

- Хоть куда, - ответил Салатин. - Хитрая сволочь. Меня задумал переиграть. Не получится! Гадский шмурик!

Тараканов повеселел.

- Может, его проучить, чтобы особо не зарывался?

Салатин задумчиво повторил:

- Не зарывался. А что? Это мысль.

Тараканов:

- Да я его собственными руками.

Усмехнулся Салатин:

- Да хоть ногами.

Тараканов возликовал. Ему дана власть над зарвавшимся арестантом, который хотел его оболгать, опозорить и опаскудить. Однако опер ему не поверил. «Поверил мне!»

Тараканов закрыл поплотнее дверь кабинета и что было силы пнул арестанта. Чтоб устоять, Митя был вынужден пробежаться. Но Тараканов опять его пнул. И пинал, не желая остановиться, ощущая в себе сладострастие оттого, что страдает не он, а тот, кто был его благороднее и умнее.

- Чмо! Ты меня заложил! Да еще доносительную навесил! Я окучу тебя, как суку!

Подзатих Тараканов лишь возле камеры № 4, пока открывал в нее дверь. Митя трудно дышал. Обидчика своего он и взглядом не удостоил. Был для него Тараканов неинтересен. Сразу видать, из низких людей, которые всю свою жизнь за кого-то делают грязное дело. Из таких и пестуются палачи. А ведь дома у них есть, пожалуй, и дети. И ведь кто-то из них повторит своего отца.

И опять, как и там, у опера в кабинете, почувствовал Митя себя в положении человека, жизнь у которого на краю, а он не успел сделать нечто такое, что бы его возвысило в собственном мнении и он бы гордился самим собой.

- Погоди, Таракан! - сказал он, взглянув в стоялые с прозеленью глаза усердного конвоира. - Уважь напоследок.

Надзиратель тяжелым голосом, даже не голосом, а сплошным затянувшимся звуком:

- Ну-у?
- Ножик есть?
- Для чего он тебе?
- Тебя зарезать...
Тараканов недоуменно:
- Зачем?
- Абы знать, что сижу здесь не зря.

Не медведем же был Тараканов. А поднялся над Митей страшнее его, заполняя руками, ногами и всем остальным своим телом пространство, какое имела камера № 4.

Не успел арестант ощутить под своими лопатками половицы, как почувствовал тяжесть ног в проблеснувших подковками сапожищах. Тараканов плясал на его груди, приговаривая при этом:

- Подыхай! А уж я о тебе позабочусь! Бирку сам к тебе привяжу. Чтобы там, на том свете, с кем-нибудь ненароком тебя не спутать!

Митя не шевелился. Да и как шевелиться-то было ему, если все в нем было истоптано и измято. Но голос он все-таки разобрал. Голос, который шел с того света на этот: «Мы ведь тоже когда-то были над пропастью, как и ты...»

16

Был полуденный час. Только что вышел из кабинета услужливый Тараканов, уводя подследственного Рябкова. Салатин был встревожен и зол. Надо же так промахнуться! Рябков оказался косточкой крепкой. «Чуть жив, еле держится на ногах, а меня, такого матерого, с нервами волкодава, взял и бросил на обе лопатки! А кем прикрылся? Скажи кому - не поверят. Самим Менжинским! Неужели не врет? Неужели и впрямь настрочил на меня донесение? Не знаю. Не знаю, на что и подумать. А может, он так разыграл с единственной целью, чтобы не ставить под страшной бумажицей подпись свою... Да-а, просадил я ему. Само... Самодоноса не получилось».

Минуту спустя достал из ящика спичечный коробок. Не курил, а спички всегда были рядом. Достал и папку, вынув оттуда бумагу с состряпанным наговором. Поджег ее и отвел от стола.

Бумага сгорела, оставив у ножки стола на полу бугорочек золы. Усмехнулся Салатин: «Береженого Бог бережет, - и поднял голову, зацепляя взглядом портрет председателя ОГПУ. - Теперь никто ничего не найдет. Всё чисто», - сказал, как похвастался находчивостью своей.

Потом покосился на черную папку, прикидывая в уме, что бы такое с ней ему сделать. Ничего не придумал, поэтому и решил: все документы по делу Рябкова срочно, прямо сегодня, сейчас отправить в Архангельск.

Вошел Тараканов.

Салатин вяло осведомился, имея в виду Рябкова:

- Ну и как он там?
- Отдыхает, - сказал Тараканов.
- Завтра его из 4-й в 8-ю переведешь.
- Переведу, коли он до утра дотянет.
- Неужели так плох?
- Думаю, не жилец.
- Ну, Тараканов! Тоже мне скажешь. Он, по-моему, из живучих. Но дело не в этом. А в том, что завтра к утру камера будет нужна мне для нового гостя. Смекаешь?
- Смекаю.
- Ну, а теперь отвечай: было это письмо?
- У кого? У Рябкова?
- Именно!
- Я не знаю, - потупился Тараканов.
- Как это так «не знаю»? Передавал он тебе это дьявольское письмо?
- Да вы что?! - Тараканов смутился. - Ничего, ничего такова...
- А это тогда у тебя откуда? - Салатин выдвинул ящик стола, вынимая часы с цепочкой.

Тараканов, словно застигнутый:

- От него. Это он мне за хлеб и воду.

По губам Салатина пробежало усмешливое движение.

- Выходит, преступничек наш наградил тебя за усердие собственными часами? Да ты знаешь, чем это пахнет? - Салатин скрестил на груди обе руки, а на лоб накатил две задумчивые морщины - ни больше ни меньше сам государственный обвинитель. - Расстрелом!

Надзиратель не верит своим ушам. Пальцы прыгают, перебирая ремень и бляху.

- Я бы и рад на тебя это дело не открывать, да уже не могу! Ты попался! И сдаст, уверяю, тебя, кто бы ты думал? Экс-бухгалтер Рябков!

Тараканов совсем обомлел. Щеки поехали, как с обрыва.

- И чего я теперь?

- Двигай к нему! - подсказывает Салатин. - К Рябчику своему. Уговаривай, если сможешь! Трепещи перед ним! Извиняйся! Божись! И часы с цепочкой отдай!

Надзиратель еле ворочает языком:

- А может, возьмет он...

- Что-о?! - не понимает Салатин.

- Возьмет и помрет? А может, уже и помер!

На лице у Салатина то ли недоумение, то ли печальная тень, то ли чуть тлеющая улыбка.

- Это меняет дело! - сказал он вдруг очень ясно. - Мертвый не скажет. А раз так, то и дело мне на тебя заводить ни к чему! Правильно я говорю?

- Очень даже, - кивнул Тараканов, удивляясь стремительной смене чувств хозяина кабинета. Только что был как яростный инквизитор - и вдруг.

Надзиратель не смеет верить в свое воскресение. Вздохнул, как вздыхают, когда улыбается жизнь и мелькает возможность опять как ни в чем не бывало закончить служебный день и вернуться домой. Вздохнул и, не выдохнув, вышел из кабинета.

17

Сколько минут отпущено Мите? Этого он не знает. Пытаясь взглянуть напоследок в окно, за которым таилась осенняя благодать и манящая, как любовь, потерянная свобода, он с усилием повернулся. Повернулся не до конца: в голову круто и страшно, будто лошадь в галоп, ударила кровь, и он перестал ощущать свое тело.

Смерть не сразу внедряется в человека. Пусть он тих и молчит, бледен как полотно и не дышит, даже в эту минуту он еще жив. «Я ведь тоже живу, хотя, может, совсем не похож на живущего человека», - отметил Митя. И почувствовал воздух, который вдруг взмыл и понес, понес его, словно птицу, с чужой территории на свою, где уютно синела река, шелестел ветвями березовый берег, а на том берегу - узнаваемый дом, где он не был еще, но где уже будет.

18

Сборы в дорогу были у Любы недолги. Серый, в мелкую клетку костюм, белье и несколько пар шерстяных носков она собрала еще в день, когда ходила к следователю Перову. Билет покупала за десять минут до гудка парохода.

Подуло прохладой, притащив с того берега запах смолы и грохот скатившейся в воду бочки.

Пароход прогудел в третий раз.

Ехала Люба с билетом четвертого класса, пристроившись возле пузатой трубы. Здесь грело, и ночь, натекавшая с густо темневших лесами водоразделов, была для нее терпимой, даже родной. Потому что была в ней далекая Вологда, а в Вологде - Митя, такой отделённый от всех, потерявшийся, милый-милый.

Ожидание встречи с мужем было для Любы невыносимым. Она сидела на верхней палубе и смотрела на берега, которые шли и шли, отставая от парохода.

Рядом сидели бабки с котомками, бородатый, в лаптях, сухонький старичок, какие-то сумрачные подростки и курившая папиросу дамочка в кепке. Молодое личико Любы, черные волосы из-под шляпки и горевшая в сумерках брошь выделяли ее среди пассажиров, и проходившие вдоль перил по палубе молодые мужчины с интересом вглядывались в нее. А один, одетый в белые брюки и белый китель, по всему видать, из военных, даже остановился и, улыбнувшись Любе, осведомился:

- Такая прелестная леди и почему-то не в первом классе?

- Мне здесь удобней! - ответила Люба.

- А может, пройдете в каюту № 12?

Там есть свободная полка. Она вам, думаю, подойдет.

- Не приставайте, - сказала Люба, - замужняя я. Мой муж выше вас на две головы и очень ревнивый.

Военный ушел, чтоб минут через пять возвратиться, теперь уже рядом с накрашенной кралей, которая, слушая, что он ей говорил, поправляла косынку и ухмылялась.

Люба заснула. Но сон был прерывистый: рука ее, сжавшись, держала ремень саквояжа, который могли и украсть. Зная это, она и во сне проверяла ладошку, отчего ее пальцы сжимались и разжимались.

В Вологду пароход прибыл утром. До тюремного замка было далековато. И Люба пока к нему шла, наклоняясь под тяжестью саквояжа, изрядно устала.

В кабинет следователя ее проводил крупноплечий, в поношенной гимнастерке, с бляхой на животе надзиратель тюрьмы. Люба вошла в просторную комнату и, увидев вскочившего ей навстречу кряжистого, в черных бутылочных сапогах полувоенного человека, сразу же догадалась, что именно он ей и нужен.

- Следователь Салатин, - представился он.

- Любовь Рябкова, - представилась и она, удивившись лицу Салатина, которое одновременно огорчалось и улыбалось.

- Я насчет мужа, Дмитрия Михайловича Рябкова, - сказала она и увидела, как Салатин отвел от нее глаза, точно смотреть ему на пришедшую было больно.

- Вы ведь с дороги, - сказал он ей деликатно, - позавтракайте сначала, - и показал на соседний стол, где стояли чайник, две чашки и три тарелки с укладками бутербродов.

- Нет, нет, - отказалась Люба, - сначала увидеться с мужем.

Следователь вздохнул, как вздыхают возле постели больного, которого уже не берутся лечить.

Вошедшая тем и смутила его, что была, несмотря на свою грубоватую кофту и темное платье, вызывающе хороша и являла собой породу таких же, как и она, статных женщин. Сразу же мысленно он поставил с ней рядом собственную жену. О-о, как проигрывала она! Где-то в душе Салатина отложилось горькое сожаление, что годы семейной жизни он отдал не этой красавице, что сейчас стояла возле него, а своей, постоянно напудренной, с жирными волосами и расплывшейся, как ходалое тесто, жене, которую он, кажется, ненавидел.

- Знаете... - Салатин взглянул через весь кабинет на плечистого служащего тюрьмы, словно ища у него поддержки. Но тот и сам был смущен.

Следователь прошелся по кабинету. Потом неловко остановился. Наконец набрался смелости и сказал:

- А ведь нету его.

- Как это нету? - смешалась Люба.

- Умер, - сказал Салатин.

Отшатнулась Люба, словно донес эту весть до нее не следователь тюрьмы, а свернувший с дороги в пропасть быстрый автомобиль, за рулем которого находился Митя.

- Как же так? - не поверила Люба. - Ведь я привезла для него одежду.

- Присядьте, - сказал ей Салатин.

Но Люба его не услышала.

- От чего? - спросила через минуту.

- От воспаления легких, - сказал Салатин, - простыл, пока до нас добирался. Доктор, как ни старался, спасти не мог. Очень сочувствую вам.

- И давно это было?

- Позавчера.

- А где он сейчас?

- Недалеко. Вы пойдете к нему?

- Пойду.

- Вам покажут, - следователь кивнул на служащего тюрьмы.

- Тараканов, - дал знак.

Тараканов мгновенно предстал перед Любой. Наклонился над саквояжем и обомлел, увидев скользнувшую по его галифе цепочку часов. Сразу прикрыл полой гимнастерки и покосился на Любу. Слава Богу, вздохнул он украдкой: та не видела ничего.

От тюрьмы до заросшего ивами пустыря три минуты ходьбы.

Люба стояла в жухлой траве, слабо веря, что здесь, в десяти шагах от нее,

где желтела комьями свежая глина, лежал ее муж. И все же она спросила:

- Здесь?

- Ну, - отозвался тюремщик, - много их тут.

- А где эта самая?

Не понял тюремщик:

- Чего?

Люба не знала, как и назвать:

- Тумбочка, что ли, или табличка какая, куда фамилию вносят.

Тюремщик угрюмо:

- У нас без фамилии.

- Это как?

- Зарыли - и всё.

- Господи, - прошептала Люба.

Тюремщик ушел. А Люба стояла себе и стояла. Для чего стояла? Самой непонятно.

Хлынул дождь. Где-то сломалась ветка высокого тополя, падая с хрустом на старый забор. Люба не знала, что ей и делать. Мужа нет. Есть лишь глиняная могила, вернее, яма. Артельная яма. И в ней - ее Митя. Бедный-пребедный...

Захватив саквояж, Люба скорбно, как подарестная, двинулась по дороге. Шла и слушала город, как он общался с плывшими где-то вверху терасными облаками, с хлопаньем веток и храпом коня, коротавшего день у гостиничной коновязи.

19

Плыл пароход из Вологды в Тотьму. Люба снова на палубе, у трубы. Была она в трансе. Кровь бежала в ней торопливо, с испугом, словно кто-то сейчас споткнулся, упал и начал кричать, чтобы не убивали.

- Женщина! Женщина! - ее настойчиво тормошили. - Вам плохо?

Люба открыла глаза.

- Страшно, - шепнула.

Рядом - две девушки в ярких косынках, матрос в новенькой бескозырке, нищий в шинели и горбоносая, вся в морщинках, седая женщина с кружкой воды. Люба глотнула из кружки. Сказала:

- Спасибо.

Страшно было ей оттого, что там, на самих берегах и дальше, за ними, где стояли леса, блестели оконцами избы, мелькали фигурки коров и овец, она не видела ничего. Вернее, видела, но отстраненно, как если бы все это было не в нынешней жизни, а в той, которой сейчас еще нет.

Она опять закрыла глаза. И ушла с головой в промежуток между сегодняшним днем и прежним. Оставаясь в нем, ощущала возле себя реку, к которой со всех сторон света сходились большие и маленькие проселки. А где-то за ними - жилые дома. А в домах - всех возрастов женщины и мужчины. Их ни разу не видела Люба, но знала, что между ними лежит невидимая граница, отсекавшая тех, кто ходил по этим дорогам вчера, от тех, кто проходит по ним сегодня.

Пароход, басовито трубя, причаливал к пристани Тотьмы. Сюда, где широкие сходни, где торговые балаганы, где замурованный в берег якорь, словно на праздник, сходился народ.

Любу тоже встречали. По синим камням булыжной дороги спускались к пристани бабушка Оля и двое ее внучат. Дети, завидев маму, так и рванули от бабушки с криком:

- Мама! Мама приехала!

И сразу же осеклись. В глазках - недетское горе. В голосах недетский испуг:

- А папа? Где папа?

Люба старается не заплакать. Гладит обоих по милым головкам. Наклоняется к ним. Целует.

- Там, - кивает куда-то на запад, где малиново рдеет излука, откуда плыл и приплыл пароход, а теперь там садится сентябрьское солнце. Уклав подбородок в тихие воды реки, солнце зорко присматривается к земле, не пропуская к ней свечеревшие тени.

20

Судили Митю по документам из черной папки, попавшим в руки краевого архангельского суда.

Судебная тройка постановила: виновен. Дать 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

Приговор обжалованию не подлежал, несмотря на то, что Дмитрий Рябков вот уже месяц лежал в земле среди таких же, как он, не услышавших приговора тюремных сидельцев.